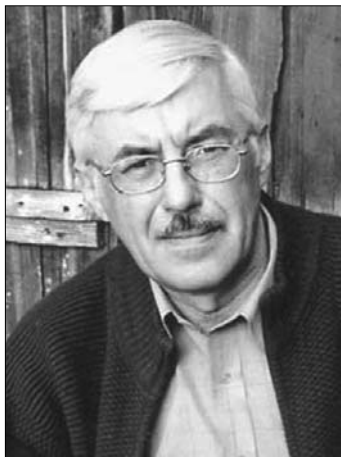


АЛЕКСАНДР ВОЛКОВИЧ



## ЖИТНАЯ БАБА

ПОВЕСТЬ

*Житная Баба — женская богиня-покровительница. Традиционный символ заступницы, изображавшейся в славянской вышивке и ткачестве в виде стилизованного снопа колосьев.*

*Изготавливали Житную Бабу во время Дожинок или славянского праздника Багача, посвященного окончанию уборки урожая, из последнего снопа, перевязывая его рушником, обливали “громничной” водой и ставили под иконы.*

*По поверьям древних славян, Житная Баба считалась богиней плодородия, излечивала женские болезни, помогала в родах.*

### Крест на росстани

Этот клочок ничейной околицы никто никогда не межевал и названия ему специально не придумывал, но испокон веков, из далёких временных повестей считается развилка за деревней прощальным рубежом, росстанью. И вряд ли припомнит старый кособокий крест, вросший намертво в дорожную обочину, чтобы кто-то из мимо проходивших либо проезжавших не удостоил взглядом, поклоном, не отметил мыслью его стойкое, согбенное временем деревянное достоинство.

Отсюда берут начало три главные дороги, ведущие из села, и здесь обозначен их предел.

---

*ВОЛКОВИЧ Александр Михайлович родился в 1950 г. в Бресте. Окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Автор книг “Зубр беловежский чугунный”, “Береза черная — береза белая”, “Алеся. Беловежские сны”, “Письма войны”. Живет в Бресте.*

Кем и когда был поставлен на развилке дубовый крест, что выглядит нынче, будто простуженный старец с шарфом на шее, не знает даже мудрый ворон, прилетавший вечерами на перекладину точить изношенный клюв.

Ворон живет триста лет, а людская память дольше.

Даже дуб в земле истлевет, а росстань не перестает быть собой — прощальным островом поцелуев и слёз.

Росстань существует столько, сколько получится, если взять и сложить возрасты всех когда-либо проживавших в этой деревне, но даже самый древний замшелый дед и самая ветхая обезумевшая старуха, выхваченные наугад из житейского ряда, несказанно удивились бы, услышав, что крест за околицей порушили, а росстань распахана каким-нибудь новым хозяином земли. Такого ещё не бывало. И вряд ли произойдет, пока совсем не зачахнет село и напрочь не вымрут в нём люди.

Каждый деревенский житель хоть единожды переступал сей заветный порог, отправляясь в дальнюю дорогу или возвращаясь издалека, а поравнявшись с крестом, замедлял шаги, дабы упрочить мимолеетной передышкой и живым созерцанием предстоящий путь. Не одному из ныне и присно живущих росстань стала последним путеводным знаком.

Росстань — предтеча и венец в одном лице.

В деревне вспоминают такой случай.

В тридцатых годах, во времена первых пятилеток, из Похмелевки отправилась на поиски лучшей доли семья Охрема Корча — муж с женой и старенькая мать по имени Агафья. Бабушке перевалило за семьдесят, и дети были вынуждены забрать её с собой, ибо оставить было не с кем. По пути на Урал в вагонной теплушке ей занедужилось, и старушку пришлось сесть на небольшой станции и положить в лазарет по подозрению на дизентерию. Так Агафья оказалась в больнице небольшого уральского городка. Однако по выздоровлении вместо того, чтобы дожидаться весточки от сына и снохи, уехавших дальше на какую-то стройку, бабушка надумала вернуться обратно в родную деревню. Женщина к старости немного умом тронулась, плохо соображала, к тому же была безграмотной. Твёрдо помнила лишь имя своё — Гапка — и место, где появилась на свет, — деревня Похмелевка в Белоруссии. Туда горемычная и отправилась за тридевять земель, не зная дороги, без гроша в кармане.

Как она сумела преодолеть несколько тысяч километров, не сбилась с пути на железнодорожных разъездах, не потерялась и уцелела на безлюдных перегонах, в лабиринтах больших и малых городов, остаётся загадкой. Старушка всегда панически боялась поездов, машин, людских скоплений и не признавала никакого транспорта, за исключением привычной телеги. Почти четыре месяца, с середины лета до начала зимы, продолжалось беспримерное паломничество полубезумной, почти слепой, преклонных лет крестьянки. Женщине случалось отклоняться в сторону, забредать в непроходимые дебри, возвращаться к путеводным рельсам и начинать прерванный путь с новой отметки, встречаться с тёмными личностями. Никто старуху не тронул. Ночевала под откосами и открытым небом, находила приют у добрых людей, дорогу спрашивала у случайных встречных, питалась подающим и чем Бог пошлёт. И добрела.

Оборванная, отоцавшая, обессиленная странница, преодолев невероятный путь, ступила натруженными бесконечной дорогой босыми ногами на землю своих предков, узнала родные места, придорожный крест у деревни и, поняв, что её мытарствам пришёл конец, здесь же, на росстанции, присела отдохнуть. И больше не встала. Или не захотела вставать...

Люди нашли Агафью бездыханной, припорошенной первым снежком. Она покоилась вечным сном, прислонившись спиной к дубовому брусу, а обмороженные, покрытые язвами и струпьями ступни были обмотаны рушником, снятым с придорожного креста.

Невидимая нить — иногда её называют нитью Ариадны — безошибочно вела заблудшую душу к тому единственному заветному месту на земле, что во все века и времена, у всех народов называется Родиной, образ которой всегда светит нам путеводной звездой.

Агафью похоронили там, где она обрела свой последний приют.

Маленький, без надписи крест на могилке давно подгнил и опирается на большой, придорожный.

Ветры, проносясь над росстанью, умиряют свой бродяжий посвист, а птичьи стаи огибают стороной деревянный крест, дабы не спугнуть шелестом крыльев людские печали. Лишь чёрному ворону закон не писан: он считается, как и на погосте, своим, хоть и не домашним. Глухому, как тёмная ночь, крумчачу чужих историй не вызнать, слов приветствий и прощаний не расслышать. Он свидетель.

Росстань никого из уходящих не оправдывает и не корит. Она смягчает горечь разлуки нежным льняным рушником и прячет в его цветастых узорах случайные откровения.

Полинялая тряпка на груди креста — это и есть выцветший рушник, вышитый рукою безымянной мастерицы.

Святая великомученица Параскева Пятница — Заступница, Берегиня — незримо витает над этим местом, упокоившись нитяным рисунком на распахнутом дубовом перекрестии, обвив его жилистую шею полотняной лентой.

Дождь и солнце выбелили ткань домотканого рушника до бумажной серости.

Красная и чёрная нить былого орнамента превратилась в размытые блеклые узоры.

Но абрис Заступницы, бессильно обвиснув на перекладине, проступает на льне нечетким рисунком и сопровождает путника подслеповатым взглядом.

Росстань никогда не спит. Она в вечном ожидании проводов и встреч.

Старинный “екатерининский” тракт на Могилев, грунтовая насыпь на Климовичи, пешеходная широкая тропа-колея на узловую станцию села Осмоловичи — матку выселок и деревушек, которые дворами и людом ещё малочисленнее скромной Похмелевки, — начинаются здесь.

Завсегдатай-ворон, хоть и глуховат, сумел расслышать женское имя, оброненное устами одинокого прохожего, что, не задерживаясь и прихрамывая, проковылял через развилку в сторону железнодорожной станции.

“Мабыць, захварэла бабка Дуня, ніхто не здолее ручнік на крыжы змяніць”, — пробормотал он, ни к кому не обращаясь.

В руке человек держал гладкую палку — цапок, как называют в этой местности дорожный посох, и на ходу разговаривал сам с собой.

Длиннопольный пиджак-полупальто топорицился на его согбенной спине, будто прелый кожух, вывешенный на кол для просушки. Свободная от опоры рука почти касалась земли.

Звали убогого человека Володомир Муравчик, и представлял он собой ту разновидность ущербных от рождения людей, которых можно встретить в каждом местечке, в любом селе, — горбунов, дурачков, юродивых. Какая же деревня без них?!

Бабка Дуня, всеупомянутая Муравчиком, считалась в округе знатной вышивальщицей, и обновление рушника на придорожном кресте негласно считалось общественной, к тому же добровольно принятой на себя обязанностью старушки. Сама бабушка Евдокия Козлова, а речь-то о ней, расценивала свою необременительную работу почётной ношей и вот, видимо, по уважительной причине не исполнила её.

Почему именно она? Вопрос такой же праздный, как если бы у старенького и не слишком шустрого на ногу Володомира Муравчика спросили: зачем он тащится осенним днём на железнодорожную станцию и какая неотложная надобность гонит его почти ежедневно за семь неблизких верст, ведь никто там его не ждёт...

“Сустрэаць цягнікі!” — ответит деревенский горбун и при этом удивится столь неуместному, на его взгляд, вопросу. Охота пуще неволи — и весь сказ.

Выбор бабушки Евдокии на роль хранительницы росстани — тоже давний. Никто, впрочем, ее не обязывал. Она считалась между людьми лучшей

вышивальщицей — вот и кудесничала на досуге, не зная себе равных в орнаментном ручном письме. Вышивала свадебные, подарочные, жертвенные, поминальные и какие там ещё бывают рушники. Полотенце на придорожном кресте — это особая статья, не каждому по уму, даже если с пальцами и пальцами вышивальщица в ладах.

С годами народные умелицы — вышивальщицы — в окрестностях перевелись. Старшее поколение мастериц постепенно перекочевало на постоянное место жительства, известное сельчанам под названием Брьювица и Грязевец (деревенские кладбища), а молодежь женского пола, и без того не слишком многочисленная, к шитью крестиком и гладью стала неохочая, да и не привычная. Одна надежда на старушку Евдокию, которая в любом общепольном, никем не оплачиваемом деле всегда безотказная.

“Трэба да Дунькі зайсці, можа, што здарылася?” — решил про себя Муравчик, отдаляясь от неухоженного креста.

Между тем распогодилось, и подмёрзшая за ночь колея, согретая робким осенним солнцем, превратилась в осклизлую и блестящую, затрудняя шаг. Трудность относительно дальнего пути не помешала ходуку добраться до цели своевременно. Удивительное дело: часов он не имел, а являлся на станцию всякий раз аккуратно к прибытию-отправлению так называемых послеобеденных составов. Так уж повелось, и все местные давно привыкли к присутствию на станции убогого доброхота. Сойдёт, бывало, на перрон редкий приезжий — отпускник, командированный или позабытый житель, решивший посетить родные края, а тут ему неожиданная встреча уготована в образе Муравчика: а вот и я! Какое ни есть, а всё-таки знакомое лицо, которому приехавший пассажир обычно рад, ибо, как говорится, в родном краю и столб — свояк.

Прибывшая в тот день пассажирским поездом Катька, внучка бабушки Евдокии, тоже не слишком удивилась, столкнувшись на перроне нос к носу с Володомиром. А уж как он обрадовался давнишней своей зазнобе! Большой тяжёлый чемодан из рук её перехватил, в глаза влюблённо заглядывает:

— Навошта цягшком? Мабыць, кавалер твой разам з самаходам збег?

Катьке, оказавшейся по каким-то своим причинам “безлошадной” и без привычного мужского сопровождения, вопрос горбуна — как кость в горле. Не удостоила ответом.

— Впярайся, кавалер! — кивнула на чемодан.

Муравчик услужить красавице рад. В синеглазую Катьку он давно и безнадежно влюблён, как, впрочем, почти в каждую мало-мальски привлекательную особу женского пола, возникавшую на сельском горизонте на протяжении всей его незадачливой жизни. Катерина же на его глазах росла, у бабушки на воспитании. В Похмелевке теперь бывает редко, наездами. Что-то у неё нынче не срослось, иначе прикатила бы с шиком, на блестящем “вольво” с лысоватым водителем за рулём. Говорили: жених, он же — Каткин хозяин. В смысле — владелец торговых киосков, где она работает по найму.

Катька, зараза, зенки синие, бесстыжие, на Володимира таращит, беспардонно добровольного помощника разглядывает. Постарел Муравчик, сдал. А ведь когда-то за детскую ручку её водил, нянчил. Мать её, Татьяна, тоже, считай, вместе с горбуном выросла. Через забор хаты стояли. Только соседка с годами взрослела, в Минск уезжала, Катьку рожала, а Муравчик всё такой же неухоженный бобыль без жизненных перемен, разве ещё больше сгорбился, поседел и в землю врос... А всё на станцию шастает, как пацан. Бедолага.

Так они и пошли вместе, волоча меж собой чемодан на колесиках. Изредка местами и руками менялись.

Катька думу свою думала, помалкивала, грустила. А воодушевлённый встречей Володмир нёс всякую околесицу: про общих деревенских знакомых и разные разности, интересные разве только ему самому.

Спутница оживлялась лишь при упоминании о своей бабушке, навесить которую и приехала.

Странную, необычную картину представляла собой случайная парочка, оказавшаяся в единой “упряжке” на пустынной осенней дороге. Нарядная, одетая по сезону и моде, горожанка с лицом славянской Богородицы, задумчивым и скорбным, — и низкорослый седовласый горбун, облаченный в выцветший, когда-то бывший чёрным пиджак и стоптанные кирзовые сапоги...

Свободной от поклажи рукой горбун оживлённо размахивал посохом, а мадонна беспричинно хмурилась и на ходу курила тоненькую дамскую сигаретку...

Оба месили родимую грязь, не чураясь и не замечая её.

Росстань встретила и проводила пришедших без всяких эмоций. Эти люди всегда считались в деревне своими. А кто ж со своими церемонится?

### Красное и чёрное питьё

Ожидался приезд внучки, вызвавший у бабушки Евдокии, которой нынче нездоровилось, череду хозяйственных забот и домашних дел, вроде бы обязательных, требующих безусловного исполнения и в то же время несрочных, выполняемых с единственной целью — лишь бы заполнить полезным делом бесконечное время. Правильно ведь говорят: хуже нет, чем ждать и догонять.

Погода и старые клёны во дворе деревенской хаты были под стать настроению и состоянию старушки. Осенние холода, которым пора уж было наступить после Покрова, по выражению Евдокии, важлились, важлились, да никак не отваживались, а любимые клёны, сопротивляясь дыханию осени, упорно не желали расставаться с резной листвой, а только кочевряжились, не желтея и не краснея.

Со здоровьем хозяйки тоже была неясность: и не болит нигде, а во всем теле *туга*.

До настоящего предвизья ещё далековато, конец октября, — как ранним утром вышедшей на крыльцо Евдокии показалось необычно светло. Так и есть: кленовые листья, угнетённые ночным морозцем, все разом опали, устлав разноцветным ковром землю по обе стороны забора. Двор непривычно оголился.

“Сегодня приедет”, — решила бабушка, имея в виду Катьку, и вернулась в хату растапливать печь: внучка любила тепло, а в доме из-за экономии дров не топили, да и рано было ещё.

Сухие ольховые поленья взялись в грубке споро, жарко, перехватив огонь от вспыхнувшей снизу смолистой лучины; теплом дохнуло бабке в лицо; тяга оказалась сильной: пламя за закрытой дверцей шугануло по дымоходу и загудело в трубе.

Час-другой — и комната наполнится тем особым живым уютom, который всегда возникает, когда в доме впервые протапливают застоявшуюся за лето печь-голландку, или грубку, как называют её в деревне.

“Катька, знамо дело, шалопута, может заявиться в любую минуту, а может и вовсе свою персону не предъявить”, — думала про себя Евдокия, а поэтому решила с готовкой не торопиться. Собственно говоря, потчевать гостью ей было чем: бульбы начистить и кастрюльку на плиту поставить. Традиционную яичницу хозяйка тоже наколотит и изжарит в минуту. Что ещё? Сало солёное, огурцы, хлеб. Всё остальное запасливая внучка привезёт с собой: разные там сервелаты с сосисками в блестящей упаковке, мясные, сырные и рыбные деликатесы и другой всячины, что красиво блестит, а едой по-настоящему не пахнет. *Ешь, дурень, бо то с маком*, — говорят в таких случаях.

Из всех съестных гостинцев, без которых редкие Катькины визиты в деревню не обходятся, Евдокия предпочитает консервированную печень трески. Угощение это как раз по её старческому зубам. Особо обрadowалась баночке с кусочками рыбы сайры, привезённой внучкой в последний свой приезд.

“Любим мы, женщины, чужую печень грызть!” — сопровождала свой удачный подарок острая на язык внучка, а консервы “Сайра натуральная

с добавлением масла” прихватила, наткнувшись в столичном магазине на дефицит, и дабы бабке лишний раз потрафить. Знала: в молодости бабушка работала на рыбокомбинате где-то на Курилах и как раз сайрой-то и занималась. Подробности той давнишней истории Катьку особо не волновали, да и интересны ли вообще воспоминания бабушек и дедушек подросткам наследникам?

Хотя как знать, как знать... Даже Катькино деревенское прозвище — “три напёрстка” (азартная игра), — перешедшее к ней от матери Татьяны Фадеевны, проживавшей ныне в Минске, имеет богатую и непростую предысторию, которую из-за давности большинство односельчан уже не помнит, а люди сведущие либо поумирали, либо предпочитают помалкивать. Как, например, сама бабка Евдокия. И клещами из неё ничего лишнего не вытащишь.

Что касаясь деревенских прозвищ вообще, то понять их природу и мотивацию не только никому не дано, но практически невозможно выяснить из-за бесконечной множественности причинных обстоятельств. Кто, допустим, возьмёт на себя смелость утверждать, по какой такой причине бабку Евдокию по-уличному называют Сорочихой, хотя настоящая ее фамилия по матери Осмоловская, а по отцу — Козлова? Полнейший разброд.

Или почему давнишнюю приятельницу бабушки Алену Сакович из соседней Лозовицы за глаза называют Шабрихой, так же как и её давно покойную мать Ашюту?

С какой стати бывший бригадир Митяй Матохин носит нелестное прозвище Кулячка? И как оно прилипло к колхозному начальнику ещё задолго до того, как он потерял на войне правую руку и бригадирствовал потом с культей, нисколько, впрочем, не мешавшей ему взгреть в хвост и в гриву и коней, и подчинённых?

Когда-то у кого-то с языка сорвалось, из человеческого бытия вывернулось, особенность характера или жизненный случай подметило, да так в умах и на устах осталось — уличное прозвище. Чаще всего оно — даже не меткое словечко, а вроде застарелой случайной занозины. Ни выковырять её, ни ещё как избавиться.

С Катькиным прозвищем несколько иной коленкор: девушка она азартная, рискованная, вот и в торговство в последние годы ударилась. Не замужем. Бабушку Евдокию старается навещать, не в пример своей матери, вечно занятой на работе. Катерина не по годам самостоятельная, шустрая.

По мнению бабушки, внучке не особо везёт в торговых делах: нервная, издёрганная, вечно в долгах. Экономности, прижимистости никакой. Понавезёт подарков дорогих, бесполезных, нет чтобы лишнюю копейку припрятать, с толком использовать.

В Катькиных поклонниках, “амурах”, тоже чёрт ногу сломит. То с одним молодым парнем приезжала, то мужика почти сорокалетнего с собой притащила вроде бы бабушке на смотрины. У того, плешивого, поди, семеро по лавкам и алиментов воз, а все молодится, женихается... Не пара Катьке, сразу видать. Нет, трётся, блудливый! Не иначе как шкурный интерес к внучкиной выручке имеет. Тоже мне — деловой партнёр! Партнёры в постели хороши, а для семейной жизни сознательный мужик нужен, жалостливый к подруге, который не гонял бы её к чёрту на кулички за товаром по разным Китаям и Турциям. За морем телушка — полушка, да рубль перевоз. Не в деньгах, то в здоровье за длинным рублем и дальней дорогой потеряешь. Соображай, коль мужик, хозяин и будущий муж!

Как вызнала Евдокия у внучки, не первой молодости женишок — хозяин торговых ларьков в Минске, а Катька у него наёмная работница. Она за прилавком недолго сживает, главным образом за товаром рыщет. А продаст — снова в дорогу.

Тут Евдокия вспомнила свою заветную работу и полезла за нею в платяной шкаф. За створкой правого, бельевого отсека (левый считался посудным) сняла с полочки плетёную корзинку с вышивальными причиндалами, а из глубины достала рыхлый свёрток тонкого полотна. Стопку журналов

“Крестьянка” и других с выкройками и рисунками фасонов оставила на месте. Журналы ещё советских времён, накопились за много лет, разве что на растопку годятся, но жалко. Иногда попадаются лекала и картинки красивые и с выдумкой. Не грех и перенять. Впрочем, все нужные узоры, крои и стежки мастерица в своей голове держит, рука работу и правила помнит, а в том, что Евдокия вышивальщица знатная, сомневаться не приходится. Вышитые праздничные полотенца на иконах в углах, скатерть узорчатая на столе, оборки в цветах на постельном покрывале — её рук дело. А сколько поделок да вышивок по людям роздано, на заказ и в подарки сработано!

Евдокия развернула на полу широкое полотно, сшитое полосами из нескольких частей. Впервые за свою долгую жизнь на склоне лет мастерица решила на столь большую работу, намеченную пока лишь беглыми стежками.

Еще раз внимательно оглядела начатую вышивку — нет, не то!

“Зря, видать, поспешила, — расстроилась Евдокия. — Пока узор в голове не обозначился, неча лен дырывать и нитки переводить! Вышивка без смысла — худые коромысла, все одно воду не донесёшь...” Интересно, а что бы сказал по случаю покойный муженёк и Катькин дедушка Фаддей Ермолаевич, царство ему небесное? — подумала старуха и тут же произвольнo улыбнулась, предвкусывая смачный ответ.

Без всякого сомнения, её Фаддей, как не раз случалось в прошлом совместном житье-бытье, произнёс бы полушутя-полусерьёзно примерно следующее: мол, вы, мадам, во всем и всегда правы, и даже правее, чем мое правое Фаберже!

Впервые услышав эту коронную фразу от своего шалопутного муженька, бывшего моряка-рыбака, Евдокия (а было ей в ту пору годков, как и Катьке, — двадцать с хвостиком) только прыснула со смеху, когда дошел смысл сказанного: “Фаберже — это же яйцо!”

Фаддей и не такими солёными прибаутками молодую жену смущал и развлекал, рассказывая забавные байки из своей моряцкой жизни. Кое-что она и сама за ним знала и многим мужниным чудачествам была свидетелем, но не о том нынче речь.

Цветная панорама родной деревни, что Евдокия задумала вышить, явно не получалась. Дорогая нитка мулине (подарок внучки), проявляясь во льне, не успевала за мысленным образом, витавшим в голове мастерицы, а сама задумка терялась где-то в заоблачных высотах, и, опустившись на чистое поле полотна, неизменно отвлекалась на дела насущные, бытовые, каждодневные. А то, что получалось, душу и глаза не грело.

“Слаба глазами и головой стала, — кручинилась Евдокия. — Раньше картинки цветные в памяти тасовались, образы разные, живые, а нынче — вата серая, кислая...”

Каждый раз, принимаясь за шитьё, бабушка Евдокия ловила себя на мысли, что думает не об узорах и колерах, а о Катькиной безалаберной судьбе.

Пока случайную нитку бабушка на палец наматывала (“Длинная нитка — глупая девка!”), клубочек воспоминаний стал потихоньку раскручиваться, как осенний погожий денёк, струившийся за окошком бойким веретеном. Но всё серый цвет к голубому в узорах этих подмешивался — беспокойный, с грустинкой. А то чёрное с красным тревожно кричало. С чего бы?

Пообщаться бы с подружкой Алёной из соседних Лозовиц, да недосуг к ней идти. Алёна, как и Евдокия, в мать свою вышивальным талантом пошла, и матери их меж собой дружили. Обоих уже нет на свете, а дочери, сами состарившись, наследственному ремеслу остались верны. Кому нынче науку передавать?

Евдокия невзначай уколола палец и ойкнула с досады. Вот уж действительно, плохому танцору... Вроде бы и ниток любых колеров вдосталь, и рисунков с лекалами да орнаментами целая кипа, а иглол, импортных, китайских, с широкими ушками, — не счесть. Внучка целый набор привезла, уважила просьбу. Но не всё то золото, что блестит: гнущая иголки, сталь не та. Нету сравнения со старыми, довоенными... Было время, каждая иголлка швейная на вес золота ценилась, нитки сантиметрами измеряли, берегли. А что уж полотна касалось, то всё рученьками, натруженными сельской ра-

ботой, добывали — лён растили, стебли теребили, полотна на дедовском станке набивали и на росных лугах выбеливали, прежде чем превращались они в мягкую податливую материю, пригодную для хозяйственных нужд, портняжных, швейных и вышивальных.

Где нынче то время? Разве что напомним оно о себе ночным скрипом калитки во дворе да веткой клёна в окошко постучится... А ведь было, было...

Воспоминания приплыли легким облачком, и чем пристальнее Евдокия в сладкие образы всматривалась, тем глубже в мечтательное месиво погружалась.

“Надо прилечь, что-то сердцу мляво”, — решила старушка и устроилась на кухонном топчане.

“Керосин”, — почему-то забрезжило в мозгу. Ох, неспроста...

Будто наяву, видится старушке та же комната, но вместо яркой электрической лампочки под потолком раздвигает вечерние сумерки коптилка — поллитровка керосина с фитилем в горлышке. Синий огонек колеблется от близкого дыхания деревенских баб, обступивших дощатый стол с ворохом чистого тряпья на сухой столешнице.

Тусклый свет выхватывает из полумрака торжественные женские лица.

На стенах движутся тени...

Не на праздные посиделки и не на поминки собрались близкие и дальние соседки в хате Анастасии Козловой слякотным осенним вечером третьего военного года. Позвала солдаток великая нужда и такая же неизбывная вера, что теплилась в каждой женской душе, не угасая, словно мерцающий фитилёк керосинки.

И не к скудному угощению — варёной бульбе в чугушке — интерес у вечерних гостей, а к предстоящей ночной работе, важней которой за все военные годы, казалось, и не происходило. Заполнил тот жгучий позыв каждую из собравшихся, и каждая селянка озаботилась для святого дела из последнего. И главное — керосином. Из скудных запасов, из самых заветных захоронок ссезживали. В бутылках, стаканах, на доньшках бидонов приносили. Дело требовало света, а керосин ценился на вес золота. Да и где было разжиться? Только-только фронт прокатился, отдаляясь на запад. Все припасы война по сусекам подмела.

...Третий год военного лихолетья выдался, как никогда прежде, урожайным на гибель фронтовиков-односельчан. Наверное, военная почта лучше работать стала: редкий месяц обходился без чёрной вестки.

Некоторые сельчанки даже прятаться стали, завидев косоглазую Маньку-почтальонку, свернувшую во двор. Издали гадали, что там у неё в тощей сумке: солдатский треугольник или казённый “квадрат”? В сорок первом и сорок втором годах весточки с фронтов вообще в Похмелевку не доходили, под оккупацией стояло село. После освобождения села чем ближе наши войска к гитлеровскому логову приближались, тем большеей кровью давалась победа. Как будто до этого смерть солдатиков не косила, и их матери и жёны горьких слез не лили! Но как страшно, горько было получать печальные известия, когда великой войне, если верить радио, наступил перелом и доблестная Красная Армия бьёт ненавистного врага на его поганой территории! Слово чёрные вороны, прилетали с чужой стороны письма-похоронки... Убит, пал смертью храбрых, умер в госпитале от ран...

Тогда-то и озадачили измаявшихся в ожидании худых вестей баб лозовицкий церковный староста, правивший службу вместо тяжело хворавшего батюшки и не успевавший утешать неутешных. Изрёк он во всеуслышание такие слова: дескать, шейте, солдатки, всем миром обережный рушник и несите его в храм. Стану за души ратников, кровь проливающих за веру и отечество, денно и ночью молиться, ибо иным из вас, бывает, не в силах до церкви добраться, потому и молитвы нерегулярно кладёте. И чтобы обязательно на рушнике, в самом центре была вышита святая Великомученица Параскева Пятница, ибо есть она — Берегиня христианского рода и всех наших окрестностей, мать земная, хранительница здоровья и семейного очага.

И чтобы каждая мужняя, незамужняя, вдовая и просто которая в девках, но близкого человека на войну проводившая, сотворила на том полотне



свою персональную памятку в виде цветка, орнамента или другой заветной метки с мыслью о дорогом человеке.

А когда всё это вы, бабы, исполните, говорил церковный служитель, то пусть каждая зажжёт свечку при церковном алтаре, и рушник тот будет освящён.

Рушник-оберег, вещал далее староста, не только печали и слёзы бабы утолит, но главное — расстелется чудесным покрывалом над головами служивых и ратных, заслонит их в походе и в сражении, от тяжких ран исцелит, от неминуемой гибели убережёт и пулю вражью отведёт. Одно условие-уговор: на всё про всё вышивальное действо даётся единственная ночь, иначе святой завет оберега может и не сбыться...

Вот такую заповедь огласил прихожанкам староста Никодим, сам страдавший язвенной болезнью и посещавший знахарку для исцеления...

“У Козловых солдатки робют осторожный рушник! Для мужей и сынов, что с немцем бьются! Будут Параскеву Пятницу в шитье возрождать!” — пронесся по деревне заплотанный слух, и в тот же день долго хлопала калитка Настинной хаты, выпуская новых и новых желающих принять участие в святом деле...

В ту пору Евдокия была уже почти взрослой, неполных четырнадцати лет, и она помнит, как явилась на зов тетка Анюта, материна подружка, которую все с нетерпением ожидали. И с какой горделивой важностью, после паузы, достала она из-за пазухи сверток и медленно развернула тряпье...

Бабы ахнули. Настоящее ламповое стекло, “трёхлинейку” выгудила из своих грудастых недр толстуха Анюта и обвела ликующим взглядом присутствующих: мол, знай наших!

Стекло тут же на запасную лампу приспособили.

В хате намного светлее стало и бодрее.

Ай да Анюта! Она не только вышивальщица, каких поискать, и откликнулась на призыв подружки, но и довоенное стекло в лихую годину сумела сберечь. Значит, хватит света, сбыться делу, состояться красивой срочной работе, коль первая мастерица примет участие и явилась с таким редким припасом. К тому же соседское женское общество Шабриха уважила, пришла на сбор. Больше всего скорбящих — в Лозовицах; в Похмелевке вдовых числом поменьше будет...

Из Дряглевки, из-за речки, а это почти десять вёрст, притащилась рябая Дарья Зеленкович, уж её-то никто не звал, но все промолчали. Откуда только прознала? Муж Зеленички ещё в финскую погиб, все об этом знали, но отказом не посмели вдову огорчить. Пусть уж вышьет зязюлю, раз попросилась. Облик тоскующей птицы кукушки на рушнике будет к месту.

Одной из первых заявила соседка Меланья, ещё летом получившая казённый пакет на своего Тимофея. Это уже много позже оказалось, что не безвестно красноармеец Кудлов сгинул, как отписал командир, а в плен угодил и после войны домой вернулся. Правда, ненадолго. За что попал, за то и посадили. Но в тот вечер, жалея мужа, горько рыдала Меланья на плече соседки, а трое мал-мала меньше в страхе жались к тётке Анастасии, напуганые материнским рёвом.

Еле угомонила баба. И сразу — в работу.

Дружно угадали, как на урок, Дунины школьные подружки постарше — Ольга Пашкевич, Лена Осмоловская и Чубарева Надя. Они семилетку перед войной закончили, замуж не успели выйти. У каждой дружок в армии, на фронте с 43-го. Весточек подружкам не шлют. Но, может, живы ещё?

Девчата поначалу стеснялись общества старших женщин, но, быстро освоившись, ленту в общее дело внесли: им было велено холст на квадраты и клеточки разметать и цветные нитки в ушки иголок вдевать. Девки молодые, глазастые.

Но и без них целая хата охочих набилась, и даже смелому не подобрать, пока главная мастерица к работе не допустит. Тут уж без уступок — у всякой болит одинаково и всякая вправе к святому делу руку приложить.

А заправила в затее, конечно же, Анюта Сакович, она же за глаза —

Шабриха. Первая помощница у неё — хозяйка Анастасия, в чьей хате сырбор. Настя, как и товарка, мастерица авторитетная. И выдумщица ничуть не хуже. Обе они и принялись верховодить: выбрали подходящий отрезок холста, чтобы лоскуты не сшивать и рубца лишнего не получилось. По долевой, продольной нитке общую картину наметили простыми стежками. По поперечной, утку, — знаки и образы. Тут Параскеве Пятнице, царице земной и небесной, расположиться. Здесь — облик богини Берегини можно и должно вышить.

Ладу попросили не забыть невесты целованные и нецелованные.  
Венчальных голубков, чтоб женихи домой вернулись.  
Кветку-ружу, чтоб верность и любовь не увядали.  
Небесные звёздочки, чтоб дети рождались и росли.  
Святое дерево, чтоб род не прерывался.  
Жита сноп, чтоб не голодать.  
Жаворонков весенних, чтоб тепло наступило.  
Кукушку, чтоб убитых поминала, а живым года начисляла.  
Перуновы молнии зигзагом, чтоб врагов разили.

Дуныша задумала вышить козочку Манюньку, очень уж она к отцу была привязана, и отец её любил, среди других козляток отличал. Однако девочку к рабочему столу вряд ли подпустят: не до козочки. И всё же Дуня памятный ромбик на ручнике оставила, когда работа заканчивалась, и у рушника-оберега освободилось местечко. Но это было под утро. И гордилась неумельным ромбиком пуце, чем самыми удачными своими во взрослой жизни рушниками и сложными полотнами.

Сразу же каждая из работниц урок получила: той нитки по колерам подбирать, этой клубки наматывать, третьим за лампой, копилками и детьми присматривать. Остальным, которым негде к столу приткнуться, по лавкам сидеть, с мысли мастериц не сбивать и под руку не лезть.

Всё одно разговор зажурчал, вначале полупшёпотом, потом громче, то тихая, то оживляясь, особенно когда бабы начинали спорить, кому к оберегу подходить, — пока не упорядочилось, первыми стежками и крестиками не выткалось. И потекла ноченька, хоть и осенняя, темная, но скоротечней которой отродясь ни одна в этой хате не гостевала, светлее и лунней никогда не случалась. Спорилась работа, хоть и тесно, и жарко надыхали, и лампы на всех не хватало, а копилки — вонь да сажа; глаза слезятся, нить цветами путается...

Но какова работёнка! Горше, чем с тяпкой в поле. Спины радикулитные ломит, головы с недоеду и недосыпу кружатся, глаза от напряжения и гари копильной слепнут.

А кто когда в последний раз вышивальную иголку в заскоружлых пальцах держал?! Разве что суровой ниткой заплату на коленки дитёнку поставить да пуговицу медную пришить. Не до узоров с орнаментами было, не до цветков с ромбиками... Не каждой и дано. Ведь не крестик в ведомости ставить, а в клеточку на полотне махонькой иголкой попасть, не сбиваясь с наметки и с поля. Кончик нити спрятать. Локтем соседку не подбить. А ручки уж не те. Напёрсток на опухшие пальцы не надеть. Рвали их доселе, как хотели, плуги да вилы, лопаты да топоры. В каждой морщинке, в каждой вздувшейся жилке аршинными буквами прописана сельская военная правда: "Все для фронта, все для Победы!" До самой смерти печатку эту нести им вместе с колхозной Почётной грамотой в довесок за пазухой...

Детишек, кто с мамками пришёл, по лавкам и на печи, разомлевших, уложили. Каждому дитяти — по картофелине в мундире в кулачок, чтоб не плакали, когда голодными проснутся. И чтобы отцы-солдаты живыми при-  
снились.

Одна из солдаток, глядя на спящих деток, рассиропилась на песенный плач, но на певунью дружно зацыкали: не ко времени и не к месту. Обережный рушник, как и жертвенный, серьёзности, печальной сосредоточенности требует, легкомыслие здесь ни к чему. Не тот случай.

Всё, о чём мечталось, что снилось и грезилось, выткалось к рассвету на льняном полотне, и показалось измученным бабам, что не было и не будет тому рушнику равных по красоте и душевности ни в деревне, ни в дальних окрестностях, ни ныне, ни присно, ни вовеки веков... Горьким откровением, горючей слезой, душевной мольбой, расцвело льняное поле в старательных руках — и, уступая дневному свету и сиянию, исходившему от вышитых образов, разом погасли чадающие языки коптилок.

Керосин выгорел досуха.

С тихим звоном треснуло и распалось на части перекалённое ламповое стекло — будто испустило вздох облегчения.

“Конец — делу венец!” — подвела итог мудрая Шабриха.

Лампу жалеть не стала: мужики жизни кладут на фронте, а тут — стекло...

И все вздохнули с облегчением.

И хоть велика была усталость и страшила неуверенность, так ли и все ли вышили, не забыли ль чего важного, однако понесли бабы готовый оберег в лозовицкую церковь на освящение.

Несли бережный рушник, как икону, — перед собою, на вытянутых руках. И стар, и млад сбегались смотреть на сей неурочный крестный ход, а многие к нему и присоединились.

Потом дни и ночи напролёт, пока длилась страшная война, усердно молились за своих и чужих, уповая на чудодейственную силу оберега.

Спаси и сохрани!

И так — до самой Победы.

Уж сколько лет прошло, а вот вспомнилась старой женщине та вдовья, сквозь слёзы и через “не могу”, заполошная страда за ночным рукодельем — и теплее на душе, и печаль светлей. Ведь сдожили тогда, хоть не за плугом ходили и не тупыми косами отаву сбивали. В первую голову их самих, измученных военной бедой, защитил оберег: чёрную тоску развеял.

Свято верили: если хотя б одного-единственного солдатику заслонило в бою заговорное вышиванье, хоть одному горемычному страдание и боль облегчило, то, стало быть, и бабья тыловая затея свершилась не зря. А коль иных, кого с фронта ждали, смерть продолжала без разбору косить, вопреки обережному заговору, то умирали бойцы за себя и за домашних покойно. Почему? Дурак не поймет, а умный не спросит...

Много воды с тех пор утекло, много слёз пролито, а помнится та ночка в мельчайших подробностях. И всё, что с ней связано, грезится.

Приляжет, бывало, Евдокия отдохнуть от суетного дня, но забытьё не идет. Зажмурит очи — и, как живые, являются ей знакомые лица солдат, что с войны не вернулись. Похмелевских, осоловицких, тошнинских, лозовицких воинов...

Вот и нынче пригрезилось: словно наяву, идут мужики гурьбою в белых нательных рубахах, и среди них — отец её Илларион с косой на плече. По всему видать, не при военных фронтовых делах, потому что не по форме косцы одеты и на скошенном поле находятся. Направляются на бережок. Закуска на траве расставлена, выпивка. Знать, добились работнички делянки в пойменном лугу и на ужин собрались. Но никак не добраться им до заветной скатерти. Тропинка в сторону уводит. Исчезают родимые плечи, растворяясь в вечернем тумане, не оборачиваясь, уходят... Не воротить, не дозваться... Только молоко из кринки, неловко поставленной, на цветастый рушник тоненькой струйкой льется, вот-вот иссякнет...

Закроет женщина глаза — то же самое видение.

Подхватиться бы, да ноги окаменели...

Однако не чувствует боли онемевшее тело, и рука старушки безвольно падает на одеяло, походя сталкивая на пол корзинку с шитьём, взятым под бок по привычке.

“Катька подберёт... Если зайвится...” — промелькнула в угасающем сознании бабушки Евдокии последняя отчётливая мысль...

## Житная баба

Што за ўсё тлусцейшае? — Зямля.  
Што за ўсё цяплейшае? — Сонца.  
Што за ўсё чысцейшае? — Вада.  
Што за ўсё хутчэйшае? — Вецер.  
Хто за ўсё дабрэйшае? — Маці.  
Што самае салодкае? — Сон.  
Што за ўсё смачнейшае? — Хлеб.  
Што за ўсё мацнейшае? — Смерць.  
Хто за ўсіх багацейшы? — Каза.  
Хто самы працалюбівы? — Пчала.  
Хто самы гаротны? — Жанчына.  
Што самае прыгожае? — Кветка.  
Што без канца і пачатку? — Дарога.  
Хто ўсіх корміць? — Зямля.

Кто научил Евдокию, крестьянку, сим премудростям, она и сама не знает. Впитались они в сознание и кожу утренним туманцем, что висел над весенней речкой-шептухой на окраине деревни Похмелевки, влились в душу тёплым летним солнышком с неба, проникли в уши перезвоном жаворонков над жнивьём. Цветком-васильком в сердце откликнулись — и звучат, то замирая, то возносясь, серебряным перезвоном.

Радуют. Томят.

Василёк — красивый цветок, а на хлебном поле — сорняк. Все одно не поднимается рука серпом уничтожать красоту.

Охажку синих цветов жница меж колосьев насобирила, букет сложила.

“Ой, Василько-Василек, путь и долог, и далёк...”

Солнце уже высоко: пора домой.

На тропинке, ведущей с поля к хате, девушка повстречала Володомира, деревенского дурачка. Фамилия горбуна — Муравчик. Звучит хорошо, траву-мураву напоминает. А сам Володомир — как лесной корч: голова в плечи втянута, спина коромыслом, руки ниже колен свисают. Он не намного старше Евдокии, а выглядит, как молодой старичок. Горб его старит.

Однако добрый. Цыпленка не обидит.

“Дунька, хочаш пашпарт атрымаць? Бягі на станцыю. Там аб’ява вісіць”.

“Какой паспорт, Володомир? На солнце перегрелся?”

“Вось табе крыж! Казённая папера. Сам чытаў”.

Муравчик только внешне неуклюжий, дремучий. Он всё знает: что и где в Похмелевке и в Осмоловичах происходит, какие события грядут. Везде поспекает. Читать-писать научен. Хоть в школу и не ходил.

До железнодорожного разезда обернуться — всего ничего. Да и бешеной собаке семь верет — не крюк. Так говорят.

Обмирая сердцем, вскоре она читала уже объявление, что было вывешено на стене станционного здания, рядом со входом в небольшой зал ожидания с голой буфетной стойкой в углу.

Печатные буквы прыгали в глазах. Не сразу сумела сообразить, что к чему:

“Отделение Оргнабора Климовичского районного исполнительного комитета объявляет дополнительный набор населения на работу в рыбоперерабатывающей промышленности СССР. Срочно требуются сезонные рабочие на рыбокомбинат “Островной” острова Шикотан объединения “Дальрыба”. Приглашаются граждане женского пола. Проезд к месту работы и койко-место в общежитии комбинатом обеспечиваются. Выдаются подъемные. За справками и направлениями на работу обращаться в Климовичский райисполком, кабинет № 12”.

А ниже, уже от руки, разборчивым почерком дописано:

“Лицам, отработавшим по направлению из сельской местности год и более в районах Дальнего Востока, приравненных к условиям Крайнего Севера, возможна выдача общегражданских паспортов СССР единого образца”.

И подпись: “Уполномоченный Оргнабора Сивцов”.

Роспись у Сивцова коротенькая и кривая, как червячок-наживка на крючке...

Дуняша проглотила приманку без передыха и раздумий.

В кои веки еще сподобится настоящий паспорт получить! Не положено иметь их колхозникам. Редко-редко кому-нибудь из осоловичских или похмелевских удавалось получить справку-открепление в местном колхозе — конечно, с согласия сельсовета. Парням-то проще — заберут в армию, и ищи-свищи их в поле ветер после службы! На колхозных полях да на фермах только такие, как Дуняша, остаются — ни в солдаты, ни в матросы, ни подмазывать колёса! А тут okazия, редкая возможность, можно сказать, впервые в жизни!

Не была бы она из Осоловских — загорелась идеей, как порох. Ничто девушку в деревне якорем не держит. Матушку в прошлом году схоронила — царство ей небесное! Отец Илларион Киреевич с войны не вернулся. Младшие сестрёнки и братик ещё в малолетстве поумирали. Одна забота — коза Манюня да куры в сараюхе. Но живность можно и по соседям раздать. Вот соседка Миля Кудлова — трое у неё деток — давно уже голову морочит, мол, отдай да отдай, Дуня, козу: на корову сена не напасешься, с козой экономней... Тебе по-всякому пол-литра молочка отольётся.

Давно надо бы отдать... У Эмильки муж в лагерях сидит, где-то под Соликамском. А где это — одному Богу известно. Вроде бы в Пермском крае. Как вернулся Кудлов после войны из немецкого плена, так его наши сразу и забрали. Говорят, отбывал в немецком лагере в Норвегии... В советском-то, небось, всяко полегче! Хотя и без права переписки с родными...

Решено: Манюню — Эмильке. Кур можно и зарезать. Будет на пропитание в дороге.

А вдруг не примут?

Эта ужасная мысль буквально обожгла её своей простотой и несуразностью, и она тут же засобиралась в районный центр, дабы поскорее разузнать в тамошнем райисполкоме свою судьбу. Ни больше, ни меньше.

К вящей ее радости, все оказалось намного проще, чем представлялось из захолустной деревни.

В Климовичах в отделении Оргнабора, в заставленном столами тесном кабинете с номером “12” в райисполкоме — не обманул Сивцов! — фамилию Евдокии записал важный уполномоченный. Повыспрашивал о родителях, образовании, социальном положении. Евдокия поняла, что она подходит по всем статьям и приехала очень кстати, так как разнарядка на Шикотан почти выполнена и “красавица успеет вскочить в последний вагон”...

Против “красавицы” Дуняша возражать не стала, а при слове “вагон” начала тревожно выглядывать в окно: где же он?

Уполномоченный Сивцов посмеялся и вручил девушке предписание: быть на железнодорожном вокзале Климовичей такого-то числа во столько-то, имея при себе продукты питания в дорогу на неделю и предметы личной гигиены. Суточные и проездные будут выдаваться при отправлении. Явка обязательна.

Все открепительные формальности с колхозом и сельсоветом Оргнабор как представительский орган райисполкома брал на себя.

Нищему собраться — только подпоясаться. Окна и двери досками накрест, на косяк — замок. Соседи присмотрят.

Кур Эмилия помогла отловить и передуть. Правда, двух самых ценных сереньких несушек хозяйка пожалела, за так отдала.

Коза Манюня, хоть и упиралась, но в чужой двор пошла, соблазнившись хлебной краюхой. Евдокия специально не кормила животных перед отъездом и не доила, чтоб притомить.

В любом случае самое дорогое существо останется в целостности и сохранности. Уговор ее пребывания в соседском хлеву — до Дуняшкиного возвращения. С этим всё в порядке. И сердце за козу-дерезу не тревожится.

Земля. Тут намного серьезнее. Пару соток посеянной и вызревшей озимой ржи Евдокия сама успела сжать, остальное оставила на совести сосед-

ки. Можно было, конечно, и однорукого Митяя Матохина, старинного отца дружка, попросить, чтобы скошил и смолотил, однако станется с него и своего.

Льна она не сеяла. Бульбы — с гулькин нос. Зелень на грядках возле хаты — не большой прибыток, охотники на лук да репу и без понуканий найдутся.

А что земля? Куда она денется? Пусть отдохнет. Пшеничка из года в год не родит, и нечего лишний раз сотки пахотой иссушать и потом солить. Житу — жить, если сами живы будем.

Еще взяла Дуняша в дорогу материнский рушник. Как память о матери с отцом, о родимом доме. Каждый стежок на полотне материнской рукой вышит, каждый цветочек и знак ею подобран. Не говоря уже о льняной дорожке — выпестован долгунец на влажном суглинке, выжарен на солнышке, мят, терблён дождем и ветром наперегонки с крестьянскими руками, вымочена, выбелена ткань на росном речном бережке.

Памятен этот рушник, красивая на нём работа.

Надежда-свет-Борисовна — матушка дорогая, далеко не последней вышивальщицей в Похмелевке считалась, но составлять венчальный узор для единственной дочери не рискнула: призвала на совет Аниоту Сакович из Лозовиц — знатную мастерицу, товарку свою сердечную.

Разметили рисунок кумушки-подружки чин по чину. Дерево жизни в орнаменте присутствует — зелёный ствол с кроной-отростками; Лада — богиня любви и красоты с букетом в каждой руке; любовные голубки, повернутые клювиками друг к дружке, и звездочки — будущие детки, на *небесном* своде. Есть в орнаменте и цветы-васильки, и трудолюбивые пчёлки, и весёлые жаворонки. А центральное место в композиции занимает Житная Баба — символ плодородия, благоденствия и здоровья будущей семьи.

Мастерицы ещё поспорили, что важнее, первостатейнее: Багач в виде ржаного снопа или же Баба — примерно такого же рисунка, вышитые традиционным одинарным либо двойным, “болгарским” крестиком?

Судили-рядили, пока не сварганили свадебный рушник разноцветной ласковой гладью, предпочтя, по обоюдному согласию, верховодство в орнаменте Житной Бабы с колосьями, ибо:

*Мыто жито, тёрто,  
Да не вытерто,  
Било баб, изорвано,  
Да не выбито...*

Утёрла Евдокия материнским рушником слезинку воспоминаний и спрятала его на самое дно фанерного чемоданчика. Лучше нету дружка, чем родная матушка...

Не гулять той на свадьбе дочери, не стелить венчальный рушник под невестин каблучок...

Но расстелилась дальняя дорога льняными полотнами, просматриваясь далёко, насколько позволяли леса и взгорки вдоль железнодорожной колеи.

Что без конца и начала? Дорога. Вот и вьётся она, наперегонки с ветерком, который ласкает лицо в вагонном окне, полуспущенного рамой вниз...

К общему отъезду из Климовичей Евдокия успела. Группу собравшихся работниц провожал уполномоченный Сивцов. Каждой завербованной был выдан железнодорожный билет и суточные — целая уйма денег. В колхозе столько и за полгода не получить. Там, известное дело, “палочками” расчёт идёт.

Группа собралась человек тридцать. В основном взрослые бабы: сороковухи-годовухи, вдовы солдатские бездетные, разведёнки, семьями не обременённые.

Дуняшкиных однолеток — раз-два и обчёлся. А она, по крестьянским меркам, тоже не первой свежести — за двадцатку перешагнула. Ну, и что с того, что замужем не была? Неизвестно ещё, когда теперешние невесты-школьницы повьйдут! После страшной войны изреженными на мужички головы оказались села и деревеньки, обабилась сеножати... В городах тоже,

видать, мужского полу не густо: сплошные платки и юбки на станциях, редко где пилотка да фуражка промелькнёт, важная шляпа проплывёт. Все фуфайки, калеки, вдовы с клунками да мешочники на каждом перроне. Всё едет куда-то народ, провожается...

Им, вербованным, ясное дело, куда — на Курилы, на Шикотан. А остальной люд куда устремляется? Отчего не сидится на одном месте? Вот стронула страну война, сорвала людей с насиженных мест — и, оказывается, не в состоянии остановиться вселенское движение, хоть мирная жизнь давненько наступила и народное хозяйство, войной порушенное, восстанавливать требуется. Рабочие руки везде нужны.

Пока девочки и женщины из группы вербованных размещались, утрясались и знакомились, не одна верста за окном пролетела. Все леса да озера с речками чередовались — Белоруссия.

Евдокия прикорнула в купе общего вагона, возле наружной стенки у стекла, а сон не шёл.

Подрёмывала — вспоминала...

### Долгие провода — лишние слёзы

В тот день, когда отец уезжал на фронт, они с матерью долго шли пешком из деревни на станцию в Осмоловичи, стараясь не отстать от пешего строя мобилизованных односельчан. Война и без того частой гребенкой прочесала мужское население окрестных сёл и деревень, оставив на последний набор самых непригодных.

Среди них оказался и стрелочник Илларион Козлов. Перед войной его не забирали, потому что держала железнодорожная бронь. Во время оккупации немцы не трогали по причине непризывного возраста, хотя в свои пятьдесят стрелочник всё ещё выглядел молодцом.

А весной 1943 года, сразу после освобождения села Осмоловичи и прилегающих к нему деревень Могилёвщины, отставной солдат добровольцем вызвался на фронт.

Таких, как он, нестроевых, ограниченно годных и только-только достигших призывного возраста, набралось в округе человек семьдесят. Большинство — из Похмелевки. А также из Богдановки, Дрягилевки, Лозовиц, Тошны и других деревушек и выселок, окружавших головное село.

Минова росстань за селом, многие из провожавших и провожаемых осеяли себя крестным знамением, на ходу поворачиваясь лицами к придорожному кресту.

Бабы, чьи мужья и сыновья уезжали на войну, крестились поголовно, можно сказать, подобно — истово. Старшие мужики — через одного. Молодые новобранцы прятали глаза — комсомольцы.

На станции строй распустили. Призывники поспешили к своим, те обступили отъезжавших, образовалась толчея, постепенно распавшаяся на группы и группки. До объявления отправки пришлось ждать долго; людей несколько раз строили, делали переключку. Потом привезли на полуторке военное обмундирование. Оказалось, что в кузове были только мотки брезентовых солдатских ремней с почерневшими от складской плесени железными пряжками.

Ремни раздали.

Отец, подпоясанный поверх пиджака брезентовой лентой зеленоватого цвета, стал похож на военного и будто очужел.

Дуняша как ухватила детской рукой за ремень, так и не отпустила от себя отца до самой посадки в вагон-теплушку. Еле-еле удалось матери ручонку оторвать, разжав побелевшие пальчики. Чувствовало детское сердечко: последний раз живым родителя видит.

Мать, напротив, даже слезинки не уронила. Посчитала, что негоже перед разлукой и людьми плакаться, мужа в тоску вгонять. А тут состав подошёл, которого подья ждали: всё уже переговорено, помянуто, наказано, к чему лишние слова? Долгие провода — лишние слёзы. Мать даже подтолкнула легонько замешкавшегося в толчее супруга: дескать, другим проходить

на посадку не мешай... Долго ещё будет потом себя корить за произвольный толчок... Все видела Дуняша, все понимала.

Писем с фронта от отца не приходило. За исключением казённого конверта в августе 1944 года.

В скудных строках извещения за подписью командира воинской части значилось, что красноармеец Илларион Козлов погиб смертью храбрых в боях под городом Пропойском в Белоруссии. Там и захоронен в братской могиле.

Совсем, значит, недалеко от родных мест батяня отъехал и на белорусской земле героическую смерть принял, решили в семье.

А ещё позже вернулся с фронта в Похмелевку бывший колхозный бригадир Митяй Матохин. С культурой вместо правой руки. От него и узнали: призванные мужчины из Осмоловичей и окрестностей, что отправлялись на войну в тот памятный день, были направлены в одно воинское формирование под город Пропойск, где и застряли в болотах вдоль реки Проня. Почти полтора года наши пытались прорвать здесь фашистскую оборону. Почти все погибли — осмоловичские, похмелевские, богдановские, лозовицкие, тошнинские... А от Иллариона Козлова только ремень брезентовый остался на немецкой колючей проволоке, которую боец с другими солдатами полез разминировать...

“Такие вот пироги с котятками”, — добавил тогда Матохин.

После войны на могилку отца и мужа не съездил никто, хотя мать просила и перед своей смертью наказывала: “Езжай, Дуняша, праху родителя поклонись, сама я не доеду...” А когда было ехать? Хозяйство Евдокию держало. А вот сейчас и сама отправилась к чёрту на кулички, через всю страну, аж на Курилы... Географию в школе изучала, как-никак...

“Интересно, город Пропойск уже проехали? — думала Евдокия. — Наверное, он все-таки в стороне остался...”

Этот Пропойск, будь он неладен, давненько в мозгах у Евдокии свербел. С тех пор, как впервые о нём услышала...

Дело было на осмоловичской станции, в буфете. Сюда повадился приходиться не только горбатый Муравчик, но и многие из окрестных жителей в надежде узнать последние новости с фронтов.

Чёрная чаша репродуктора, объявлявшая прибытие и убытие поездов, иногда оживала по вечерам голосом Левитана, передававшего сводки Совинформбюро.

В тот день случился завоз долгожданного бочонка с пивом — говорили, что бочонок приказал выставить населению начальник станции в честь очередной победы Красной Армии.

Как только репродуктор ожил — наступила тишина.

Левитан зачитал сообщение Совинформбюро и приказ товарища Сталина об освобождении города Мстиславля салютовать доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, форсировавшим реку Проня и прорвавшим оборону немцев на могилевском направлении, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий...

Мстиславль находился от Осмоловичей в нескольких сотнях километров, почти рядом; люди, набившиеся с перрона в буфет, кричали “ура”, чокались пивными кружками, обнимались и целовались.

А ровно в 22 часа повалили все разом из помещения, как будто салют из далёкой Москвы можно было отсюда увидеть.

Евдокия нечаянно подслушала разговор подвыпившего инвалида-фронтовика с путейским рабочим, одетым в замызганную спецовку.

Инвалид был на коляске, с одинокой медалью на гимнастерке, нездешним — такие разъезжали поездами по всем направлениям, пели жалостные песни под гармошку, собирая подаяние. Иногда их забирала линейная милиция, ссаживая на больших и малых станциях.

“Почему Пропойск не хотят брать?! — грозно спрашивал пьяненький инвалид у случайного собеседника, с которым угомонили уже не один “мерзавчик”. — Не знаешь, мазутная душа? А я ведаю. Я там был, почти рядом. Вот и шасси свои там оставил... А как прикажете товарищу Сталину докладывать, что вышибли, наконец, немцев из этого города? Так, мол, и так, това-



риц Верховный, — Пропойск освободили?!” — “А чего раньше чухались? — спросит товарищ Сталин. — Где ваши танки, авиация, артиллерия, инженерная поддержка? Что же вы пехотным пузом на фрицевские доты и дзоты прёте, солдатиков кладёте ни за понюшку табаку? Сами пьянствуете, так считаете, что и в Пропойске немцы вусмерть пьяны, голыми руками их берите?” Пока не отыщут подходящее название городу — войска не двинут. Не с руки, — сделал вывод инвалид. — Опять же незадача — без согласия товарища Сталина никто переименовать не отважится... Колечко получается...”

“Выходит, из-за поганого пьяного слова отцу с товарищами-солдатами, засевшими в окопах под Пропойском, никто на помощь не идёт?” — спрашивала себя Евдокия, шалея от подслушанного разговора.

Хотела было выпытать у инвалида подробности, но его уже Володимир Муравчик с младшими мальцами покатали на низенькой тележке с колёсиками в село — ночевать к одинокой хроменькой Меланье. Оба калеки — два сапога пара. Слюбятся.

Пьяный инвалид размахивал, как противотанковыми гранатами, ручками-упорами с набитыми на них резиновыми набалдашниками и кричал: “За Родину! За Сталина!”

Обе ноги были ампутированы у солдата почти по пах.

*Я был батальонный разведчик,  
А он — писаришка штабной,  
Я был за Расею ответчик,  
А он спал с моею жаной.  
Ах, Клава, любимая Клава,  
Ты знаешь, как мне тяжело?  
И как же могла ты, шалава,  
Меня променять на яво?..*

Такую песню распевал безногий солдат, наяривая на гармошке...

А фамилию отца, Иллариона Козлова, вместе с именами других односельчан, погибших в Великую Отечественную войну, позже выбили на постаменте-стеле, установленной посередине села возле клуба — бывшей церкви. И хотя прах красноармейца Козлова покоится в братской могиле на берегу реки Проня под городом Пропойском, мать с дочкой к деревенскому памятнику в День Победы и на Дзяды регулярно приходили. Жертвенные рушники меняли на свежие. Не забыть бы, обновить...

### Россия дорожная

Поезд ещё не дошёл до Москвы, а Евдокия все свои задачки уже по полочкам мысленно разложила, каждому неотложному делу местечко определила. Правильно говорят, что под лежащий камень вода не течёт. А вот стронулась с места — заботы разом и набежали, со всех сторон мысли-ручейки подтачивать начали.

Значит, так: к отцу она ещё съездит, благо город Пропойск, а ныне Славгород, недалеко находится, туда всегда успеется. Честно говоря, давно пора.

Знакомые погосты тоже никуда не денутся за время её отсутствия. Уж куда не следует торопиться, так это на кладбище. В любом смысле.

До Москвы доехали быстро. Казалось, только-только Смоленск минули, а вот уже она, столица, Белорусским вокзалом встречает. Здесь всё Белоруссию напоминает: зелёным с голубым выкрашено, а особенно узнаваемы разношерстные людишки и вокзальные разговоры. Как будто находишься на могилёвском перроне или в зале ожидания в Орше. А чуть отойдешь в сторону от привокзальной площади, подашься ко входу в метро — меж толстыми высокими колоннами, как перед храмом в районном центре Климовичах, — ан нет, это тебе не деревня Похмелевка на восемь дворов да двое коров!

В Москве людей, что на дубе желудей. Торопятся все, толкаются. И до чего эти московские себя уважать велят! И на улице, и в подземном сверкающем царстве, и в разных красивых магазинах. Сорок сороков — кобыла без подков, Тишинка, Мясницкая, пустая бадя — московский я!

Но Москва! Слово-то такое! Как благовест звучит!

Жаль только, город толком не увидели: сразу нырнули в метро. А там — лестница-кудесница, бойся — ногу затынет меж ступенек; подземные поезда один за другим подбегают; автоматические двери захлопнуться перед носом норовят; люди, будто муравьи, по проходам снуют; затем — грохот, ночь, огни станций, а вынесет на божий свет эскалатор — опять кругом столпотворение. Люди бегут, машины сигналият, светофоры мигают.

Хорошо хоть старшая группы — средних лет солдатка, назначенная за главную еще в Климовичах Сивцовым, не растерялась: “Стоять, кулёмы! От меня ни на шаг! А сейчас — бегом!”

Гуськом, как утята за маткой, и продвигались.

На Ярославском вокзале (попробуй угадать, какой из трех?) столица иным ликом к гостю поворачивается, доселе незнакомым, разномастным. Людская круговерть воробыной кутерьмой чирикает: гомон, гвалт, перебранка. А спросишь дорогу к кассе, то какая-нибудь бабулька — божий одуванчик либо мужичок-с-ноготок начнёт словесный бисер во рту перекатывать, а круглое “о”, словно слобной баранкой, рот распирает и захлопнуться ему не велит: “Подит-ко, деваха, туда-то-сюда-то, растуда-то, куда глазье-то положила и яйца в лукошке топчаш?! В окошко-то кочан засунь, там пошуми!”

Однако старшая группы и сама знала, где билеты продают, а где расписание поездов искать. Даже отдельное окошко на вокзале имеется, где на разные вопросы отвечают. Надо только в очереди постоять.

Притомились с непривычки сельские девчата, намаялись. Нигуда дальше привокзальной площади не отлучались. Не могли дождаться, когда в поезд “Москва—Владивосток” взгромоздятся и тронутся уже в вечерних сумерках в даль далёкую, неизвестную. Ох, правильно говорят: дорога никогда не кончается.

Вагон — плацкартный, каждому пассажиру — “по мягкому месту”.

Не сразу смысл шутки дошёл, которую усатый проводник вместе с комплектом сыроватого постельного белья пассажирок снабдил. Знать, ехать им — кум-королем, чай распивать и песни горлопанить. Ведь дальняя дорога всегда на песенный лад настраивает...

Но пожилая солдатка тут же на товарок цыкнула: мол, не на колхозной вечеринке находитесь, культурно себя вести надо... Значит, молчи себе в тряпочку и в окошко глаза пяль.

В плацкартном вагоне всё внове: стаканы в серебристых подстаканниках, пепельницы на стенках в проходах, расписание движения поезда в рамочке возле служебного купе проводников. И, конечно же, отдельный туалет с кусочком пахучего мыла на полочке, зеркальцем и, извините, сиденьцем, куда по нужде приспособиться можно...

Кусочек мыла махонький, это правильно. Попробуй на всю поездную ораву запасись. Только их, вербованных, почти три десятка душ!

Освоившись с туалетными железнодорожными премудростями, девушка посчитала себя вжившейся в вагонный быт основательно, оставалось только посетить буфет при ресторане, но сказали, там очень дорого, да и незачем: каждая везла с собой что-нибудь съестное. Чай разносили проводник с напарницей по первому требованию. Можно было и самой кипятка из титана набрать.

Но полезет ли кусок в горло, когда за окном — кипучая, могучая, никем непобедимая поворачивается к тебе чудесным ликом, доселе незнакомым. Только успевай головой вертеть и зажмуриваться при встречных составах.

Евдокии даже завидно стало. Вот у проводников жизнь! Разбегаются, считай, бесплатно, разные города видят, разных людей. Хорошо, что сама отправиться в дорогу не побоялась. *От Москвы до самых до окраин* — как по радио поют — всю державу сможет увидеть!

Раньше только на школьной географической карте свой теперешний путь проследить могла. Тонкой чёрной ниточкой железной дороги Москва с Владивостоком связана. Кружочками и точечками редкие города обозначены. Ладощкой прикрыть расстояние на карте можно. А нынче каждый сантиметр в дневной, суточный путь оборачивается, каждая точка в необозримый круг превращается, и кружит тебя, вращает земля, да так, что непонятно, в какую сторону вращение и наступит ли ему предел.

Оказалось, что в первые несколько суток поездного движения были переговорены с новыми знакомыми почти все насущные темы, а плацкартный вагон, куда взяла билеты старшая группы, стал привычней родной хаты в деревне или родительского двора. Будто едешь, скажем, в телегу со своей бабской колхозной бригадой после страдного сенокоса и ничего, измотанная, после вил и граблей не радуешься, скорее бы ко двору. Песни перепеты, рожки надоели, а натруженное тело жаждет покоя.

Однако не уставала поражать и удивлять дорожная великая Россия.

Ожидалось: домчится поезд до Уральских гор, перевалит становой российский хребет, а там и всего ничего останется до самого края Союза. Раз — и в дамках.

Нетушки! Именно за Уральским камнем и начинаешь воочию понимать и осознавать величие и необъятность просторов Советской страны. Это не с горки на санках съехать! Тут, впрягшись в гружёный обоз, по колдобинам да по рытвинам, по оврагам и косогорам, по дремучим лесам да бескрайним степям погоняй лошадок, не взнуздывая, плечом поднаваливайся, возу подсобляя, а дотащишься ли — то не ведомо...

А представила себе Евдокия, сельская труженица, что кабы если бы весь великий путь по Сибири и тем просторам, что далее, до самых восточных морей, ехать не по железке в праздности и пустозвонстве, а на тележном резиновом ходу, а если очень повезёт, — на колхозной полуторке, и сколько недель и месяцев заберет эта дорога, — то пассажирке вовсе дурно стало. Вот угораздило на прогулку!

Сколько дней провели в вагоне, четыре или пять, со счету Евдокия сбилась. Календарей и часов ведь ни у кого из попутчиц не было, а у проводников всякий раз спрашивать неловко. Время отсчитывалось и воспринималось главным образом простуком колёс да знакомыми с детских лет названиями российских городов, через которые проезжали. Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск... Ядрёные имена, смачные, тугие, как яблоки крутобокие зимние! Такие же и виды на перегонах вдоль железнодорожной насыпи: суровые и дикие.

Вдоль Байкала дивчина почти день-деньской крестом в вагонном окне простояла, всматривалась в славного озера священную даль, которую и сравнивать было не с чем, разве что с настоящим морем...

Возможно, и меньше времени прошло, но разве считают часы у алтаря, когда допущен к нему коленопреклоненно?

“Славное море — священный Байкал!”

— Через час поезд прибывает на станцию города Улан-Удэ! Кому выходить, сдайте постельное белье! — объявила, пройдя по вагону, проводница.

Это название заковыристое другое в памяти всковырнуло — кок-сагыз. Намаялись в свое время колхозные бабы, корячась на прополке диковинного зелья, которое полеводов заставляли выращивать наравне с картошкой и свеклой. Еще шутка промеж деревенских ходила: “Спасибо Сталину-грузину, что дал нам гуму и резину”. “Гума”, по-белорусски, опять же — резина. Вот и смекай... А Митяй, бригадир Матохин, страдал: мол, не вздумайте, товарищи колхозницы, при посторонних вякать. Кок-сагыз — растение чрезвычайно важное, стратегическое. Это каучук для народной промышленности, понимать надо.

Куда уж им — тёмным, беспаспортным... Секли тямками траву кок-сагыз без всякой жалости, народной промышленности урон нанося, правда, с оглядкой.

“Неужели до самого Владивостока не земля, а сплошная ссылка?” — думала Евдокия, впадая не то в дрему, не то в дивный летаргический сон, навеянный дальней дорогой.

Куда ни обрати взор, везде она — кондовая, матёрая, дикая... Кажется, только прислушайся — отзовётся звоном кандалным. Осторожным тоскливым стоном откликнется, что песней в народе кличут... Могучая, никем не понятая сила таится за каждым поворотом! Чудо-богатыри в нательных рубахах дремлют под лесными стогами и стрехами до поры до времени, вздорной суетой лень и покой свои не нарушая. Но только потревожь их мирный сон! Все сметут. Ноги — в сапоги. Шапку — на затылок. Тулуп — в охалку. Рогатину в руку, топор за пояс. И по головам, по спинам вражьи пойдет гулять сибирская дубина. Лучше не буди!

В хабаровской глуши — другие краевиды и мысли. В Приморье и городе Владивостоке — и того пуще. Синий океан не терпелось увидеть: каков он?

Дальняя дорога до того утомила, что поначалу качало девчат на земле, как на волнах. Голова гудела от вагонной тяготины, а подул свежий ветер, надвинулись высоченные сопки, навалились крики чаек, обрушился нескончаемый портовый гул — совсем голова кругом пошла. Чем ближе к портовым причалам, к воде спускались с горки, тем выше, казалось, морская гладь приподнимается.

Так вот оно какое, море-моряшко! Высокое, под самые облака...

В приёмном сборном пункте, куда доехали с железнодорожного вокзала, набралось таких же, как они, вербованных, несколько сотен. Сплошное бабье царство. Каких только лиц и наречий не собралось! Хохлушки семечками плюются наперегонки с россиянками, узбечки и казашки по-своему о чем-то тараторят, белорусские тихони особнячком в кучку сбились, а ростовские блатняги — кто их только приглашал! — сразу по чужим сидорам шустрить и на водку сбрасываться. Где тут лавка, далеко ль кабак? Еле-еле вербовщики разношерстную эту публику на посадку собрали, когда спустя полдня ожидания пароход к пассажирскому причалу подошёл и людей на борт по трапу повели. Откуда только слова песенки, которую пьяненькая зэчка-растрепя неожиданно для всех запела, Евдокии были знакомы?

“Я помню тот Ванинский порт и вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы...”

Вместе, что ли, с морским воздухом в душу впитались, с чужой ссыльной памятью проросли? Где эта страшная Кольма и Ванино? Говорили, вначале в Южно-Курильск пароход пойдет, а потом уже на Шикотан...

И радостно было Евдокии увидеть море, и боязно на высокой пароходной палубе находиться, и страшновато по узким крутым лесенкам в стальные недра спускаться. А попала в огромный трюм — совсем духом смутилась. Нары, как в тюрьме, в три яруса, сыро, темно, крысами воняет...

— Ничего, бабоньки, привыкайте к каторге! — подбадривали, издеваясь, самые опытные и ушлые из вербованных работниц.

— Слушайте больше этих балаболок! — успокоила пожилая ростовчанка. — Вспомнили урки нары, вот и бесятся на радостях! Всех нас одним чохом по Курильским рыбозаводам на островах развезут. А там работа как работа. Привыкнешь.

### Посеешь поступок — пожнёшь судьбу

В диковинку поначалу показался Евдокии морской пароход, трюмы, палубные надстройки, неприветливое море за бортом. Как и всех пассажиров, одолевала девушку морская болезнь: подташнивало от болтанки, и перед глазами круги разноцветные шли. Не до песен, не до стихов было. Умаялась в сыром трюме.

Уж плохо помнит, сколько времени трюмная эта жизнь продолжалась, как заходили в порт острова Кунашира Южно-Сахалинск, как прибыли на пустынный рейд неприветливого острова Шикотан, как, перебежав по шаткому трапу на маленький кораблик, подплывали и высаживались на деревянный береговой пирс, визжа от возбуждения и страха.

Бухта Шикотана приняла узким горлышком пароход, как будто заглотила его. Не по себе пассажирам стало. На берегу — строения безлюдного на вид посёлка, прилипшего к сопкам. Туман ключьями висит. Волны грохочут. Чайки кричат.

Непривычно и одиноко показалось сельской молодежи в незнакомом мире. И чего хорошего ждать, если кругом несуразные горы, вершин которых из-за тумана не видать, камни один на одном, а из пригодного жилья — только низкие бараки виднеются, маяк на возвышенности и каменное здание погранпоста. И все кругом, кажется, насквозь водорослями пропахло. Как тут люди живут?

Совсем уж было пала духом белоруска, как повстречала... корову. Брела себе бурёнка вдоль дощатого тротуара, ловко минуя нагромождения камней, и жевала кусок картошки.

И так старательно, сосредоточенно и спокойно поглощала непривычную хозяйскому взгляду пищу, что Евдокия вмиг успокоилась. Раз коровы на острове водятся, значит, можно здесь жить!

Правда, бараки низкие, ветрами продуваемые, обитые жостью и кусками рубероида, на шалаши похожи. Но присмотрелась — дымок из труб вьётся, будка вроде коптильни стоит и курится. Позже узнала: это островные аборигены красную рыбу таким образом коптят и вялят.

Рыбный комбинат под названием “Островной” удивил размерами и обилием рыбы. Была она везде, всюду и в невероятных количествах — в огромных глубоких чанах, на длинных разделочных столах, в консервных баночках, в картонных ящичках. Рыбокомбинат специализировался на сайре, и поклонялись, казалось, этой невзрачной рыбешке серебристого цвета и люди, и окружающая природа. А чайки, усеивавшие крыши низких строений комбината несметными, оглушительно кричащими стаями, пели сайре нескончаемый гимн, далеко разносимый ветром над скудными берегами, над неприветливым серым заливом. А может быть, птицы возмущались рыбной вонью, густо висевшей в воздухе, пропитавшей каждый камешек на берегу?

Напуганная дорожными разговорами о непосильной работе на рыбзаводе, Евдокия, как ни странно, к обязанностям обработчицы привыкла быстро, шкерить сайру научилась скоро. И нос, как в первый день на комбинате, от рыбной вони уже не зажимала. Орудовала острым ножиком, как заправская разбойница. Или хирургическая сестра — в белом халате, шапочке. Не приведи господи пальчик порезать — к конвейеру с ранками на руках не допустят. Приноровилась, приспособилась. К взрослым теткам приглядывалась, к советам мастера прислушивалась.

Через неделю-другую одним махом полосовала скользкую рыбешку от хвоста до головы и тем же движением рыбу голову отсекала. И так — до отупения, до полного изнеможения и ломоты в суставах и плечах. Только в общежитийском бараке приходила в себя от усталости, не отвачиваясь смотреться в маленькое зеркальце. Страшилась на себя посмотреть, чувствовала: исхудала, аки селёдка, хоть руки к любой сельской работе с детства были приучены. Тут другое дело, тут — рыба морская, скользкая и противная.

Население посёлка Малокурильское — немногочисленное. В большинстве — молодежь женского пола, среди которой редкие мужские физиономии белыми воронами кажутся. Жизнь кипит в основном на причале, куда подходят разгружаться рыболовные сейнеры, на рыбзаводе, работающем круглосуточно, и возле единственного продовольственного магазинчика с полупустыми полками. Во время путины делать возле лавки нечего — сухой закон. И как в любой безлюдной деревне, где каждый возмужавший подросток — кавалер, на маленьком острове любой мужчина — жених.

Вскоре подвалил к Дуняше, вечерами прогуливавшейся возле общежития, такой вот человек-пароход — с виду моряк. На голове — фуражка с “крабом”, грудь в тельняшке. На губе — сигаретка прилипшая. Вид праздный, беззаботный.

— Из каких краёв, красавица, пожаловала? — обратился незнакомец с бесцеремонным вопросом к зардевшейся девушке.

— Из Белоруссии, — ответила она, смутившись наглому разглядыванию.  
— В Беларуси все Маруси! А тебя как звать?  
— Евдокия!  
— Дуняша, значит? Дунька-Дульсинея!  
— Никакая я не “синея”, а Евдокия, — по батюшке Илларионовна...  
— Тебе до батюшки, как мне до Алеутских островов... Слыхала про такие?

— Не...

— А про Нагасаки? Тоже не..?

И моряк меха гармошки, что носил с собой, будто торбу, на боку, рывком развел и дурашливо пропел:

— Уходит капитан в далекий путь, целуя девушку из Нагасаки...

А ехидный, приставучий! “Извольте, — говорит, — мадам, принять поцелуй в ручку от альбатроса дальних морей, он скучает по женской ласке!”

Руки у обработчицы красные и в цыпках, будто жёсткая тёрка. От воды солёной морской, от сайры, которую тысячами шкерить за смену доводилось.

И впрямь чмокнуть тянется, усищами колочими щекочет. Срамота.

Одно достоинство — брюки, а мужик так себе: худощавый, солидности никакой, взгляд разбойный, чисто жиган. Такой зарежет в тёмном углу и не хмыкнет. Однако росточком не вышел. Видать, из тех, которые в корне свою силу сосредоточили.

Зато, как выяснилось позже, на клавишах красиво наяривает, припевки трогательные выговаривает! Одним словом — механик.

*Моя милка на крыльце,  
Брови ниточкой,  
Я с конфузом на лице  
За калиточкой...*

Волосы у кавалера чёрные, в кудрях-завитушках, ранняя седина на висках, а глаза — васильковые, зазывные.

В первую встречу Евдокия недолго с ним простояла, ушла.

Но не тут-то было! Повалился кавалер являться перед общежитием каждый вечер. Пошумит гармонью, чтобы кто-нибудь выглянул, — и тут же Дуняшу на выход требует. Видать, глаз на девушку положил.

“Да какой из него моряк-рыбак? Шваль портовая, пропойная! — подсажали завистницы из соседней смены. — Полгода уже бичует, дружков, что при деле и в море, у пирса высматривает да девок комбинатских щупает без разбору... Ухажёр хренов!”

Все верно, но гармонь...

Остальные подробности мужских изъязнов разгульного судового механика, проверенные в более близком общении, сработали в отношении избранницы по всем законам той же любовной механики: сердечко девичье вразнобой затюкало, сердечные клапана впопыхах задвигались, и живой механизм встрепенулся. Получилось, как по любимой поговорке трюмного мастера: машина любит смазку, уход и ласку.

“Ты, девка, никому не вякай, что промеж нами было. Контрогайку мне не расшплинтовывай, чревато!” — ласково, однако настойчиво втолковывал обольститель опосля бабьего стыда.

“А то! Больно надо!” — горделиво бросила Евдокия, стараясь скрыть смущение и растерянность от скоротечности происшедшего: не устояла перед настырным гармонистом при первой же близости. Вроде бы не слишком нахальничал и не сильничал, а девичий рот, готовый на подмогу звать, жадными губами запечатал, коленкой пах придавил — она и обмякла.

И кроватенка панцирная за шторкой в женском бараке, где уединились вечером в отсутствие соседок, жалобно застонала.

Правда, про контрогайку и “чревато” девушка ничего не поняла. Слов таких не знала. “Чревато”, наверное, с животом связано. Тогда серьёзно: обязательно чаю горячего попить или щепотку питьевой соды в рот, помогает...

А механик сразу и пропал...

*Ой, глыбокія ды калодзіці,  
Кароткія ключы.  
Палюбіла прайдзісвета,  
Рана на ваду ідучы.  
Палюбіла ж, палюбіла я  
Да і спадабала,  
Не паслухала той прауданькі,  
Што мне маці казала...*

Неделя прошла, другая — нет ухажера, как в воду канул. Евдокия даже на пирс в свободную смену бегала, высматривала: авось среди рыбаков МРС — малых рыболовных сейнеров, выгружавших улов на причале, знакомая фигура промелькнёт. Эти малые суда за сайрой поблизости от острова ходят, через день-другой возвращаются.

Однако не нашла обольстителя ни среди рыбаков, ни среди случайно встречавшегося островного народа на причале и в посёлке, который будто вымер. Все свободные руки при деле. Путина идет. Сайра.

Знать, и механику нашлось применение — не последний, оказывается, работник, сделала вывод девушка.

Но только затеплившуюся надежду отыскать гармониста в здравии и при полезном занятии поставила под сомнение барачная соседка — разбитная Нюшка. Рассказала: была намерена на укромной “блат-хате”, куда заглянула по старой привычке, застала там красавца — никакой...

Дуняша побежала сломя голову по указанному адресу, нашла пропажу в сыром полубараке, приспособленном гулящим и пьющим людям под место любовных встреч и попоек. Лежал Фаддей без чувств на разбросанной солдатской кровати, на голых пружинах, в обнимку с полураздетой девицей из последней партии вербованных.

Вокруг, как после Мамаева побоища, — пустые бутылки, грязь, запустение.

Гармонь под голову приспособил. Еле сумела растолкать.

“Всё пропьём, но флот не опозорим...” — только и сумел прохрипеть.

Затворила дверь и ушла тихонько. Подальше от позора, от рвущей душу картины пропащей человеческой жизни...

Наградил господь ухажёром... Не только честь девичью растоптал, но собственную жизнь — коту под хвост.

“Наплевать и забыть!” — решила про себя, утаив от подружек свой первый неудачный опыт интимной близости с мужским полом. Гадко было и противно вспоминать. Как половой тряпкой, моряк доверием девушки воспользовался: подтёр ею пьяную похоть и выбросил, ненужную... Припевками бесстыдство сопроводив. Мать, поди, в гробу перевернётся, узнай о Дуняшкином падении. Хоть глаза от стыда завязывай рушником, ею вышитым на дочкину свадьбу...

Ой, лихо!

Не раз плакала девушка в подушку тайком от соседок.

Но только белорусочка Дуня непростая от рождения — хорошо помнила это и знала — из Осоловских она, которые — Бонч... А эти-то и характер умеют держать, и судьбе привыкли, не жмурясь, в глаза смотреть.

В один из редких выходных дней (а работали на конвейере по восемь-двенадцать часов кряду) Евдокия отправилась в сопровождении подружки в сопки, громоздившиеся в глубине острова. Интересно было посмотреть, что там.

В лесу она с детства, как в родном доме: с любой коряжкой подружиться может, с листка запросто попить, знакомой белке языком поцокать — но то, когда лес свойский, белорусский, дубравный либо хвойный. А на Шикотане — дубки монгольские — недоростки; бамбук коленчатый, как в детской книжке; чудосочные лиственницы и кедровый стланик — хмызьяк, ветром и камнями угнетённый; корявые берёзки — будто бабская доля по ветру над землёй стелются-растут. А вместо привычного на родине низкорослого

папоротника — шатры выше головы на трубчатых подпорках, похожие на огромный навес; какие-то фикусы, вроде тех в кадках, что на вокзале в Москве видела; лопухи — листом полстрехи можно накрыть, трава изумрудная на обманных лужках, и камни, камни... Между ними ручьи журчат. В низинах — словно в бане. Ягода растёт “красника”, на язык — и голубика, и черника, и клюква. Все шиворот-навыворот. И бойся, предупредили, наобум по нужде присесть: ядовитая трава-“ипритка” ужалил больнее крапивы, язва долго не заживает.

А в тёмной чащобе, говорили, медведи ходят, но они — подалее от морского берега, на реках и ручьях обитают, красной рыбой питаются. Может, врут?

Умаялись подружки в гору лезть. Присели на валун отдохнуть.

Евдокия родную Похмелевку вспомнила. Ещё девочкой, бывало, мать по малину и орехи её водила в дальний лес за рекой. В тех лощинах памятных густой орешник и папоротник по пояс. А запахи, в отличие от здешних, которые пополам с морскими водорослями и рыбой, — хмельной дурман и малина. Поэтому и деревню назвали Похмелевкой. Ничего общего с похмельем, которым маются пьющие люди.

Матушка так каждому цветку, лесному да луговому, каждой травке пахучей и целебной название и применение знала. А сколько их на рушниках материнской рукою вышито! Сколько узоров и орнаментов под чуткими пальцами расцвело! На льняных дорожках, столовых скатертях, рубахах и платьях.

Как живой стоит перед глазами цветок папоротника на свадебном рушнике, что на самом дне чехоманчика под кроватью в бараке прет... Цветет он раз в сто лет и только — в ночь на Ивана Купалу. А тут, на Курилах, наверное, и праздника такого не слыхивали, в купальскую ночь никто цветок счастья не ищет... С океанских щедрот, что ли, ему здесь появиться? Диковинные здесь цветы цветут, ядовитые...

А как вскарабкались девчата на самую вершину, огляделись вокруг — дух захватило от великолепия, представшего взору.

Сзади и по бокам — в ключьях белого тумана сопки, в зелёное одетые, а впереди, насколько глаз хватает, — сиреневая даль без конца и края. Полосами переливается — от нежно-голубого до тёмно-синего и фиолетового. Кажется, весь Тихий океан перед лицом колышется, перехлестнув через береговую линию, которая и вовсе оказалась рядом. Скалы её изломали, приподняли и словно придвинули почти на расстояние вытянутой руки. Вот-вот вода поверх каменных изломов хлынет, брызнут в лицо солёные капли.

И ширь невероятная, простор немереный хлынули в глаза и душу...

Опустилась девушка на колени и заплакала.

С горя? От счастья? От восхищения? От великого восторга, переполнившего всё нутро, воспарившего вместе с её душой клубящимся облаком над безбрежным простором?

Как будто сама Царица Небесная, Богородица, всю эту красоту неземную перед Дуняшкой, Божьей рабой, расстелила да напоказ выставила: мол, смотри, любуйся и запоминай! Когда ещё доведется доехать до моря-океана! От родных осин листочком квёлым оторваться и по ветру за тысячи вёрст до самого земного предела долететь!

### **Шикотаном сосватаны, пугиной повенчаны**

Шикотан — остров сторожевой. Если смотреть на карту, то — зелёный лоскуток в тонюсеньком пояске между Камчаткой и японским Хоккайдо.

Обработчице Евдокии с товарками до японской стороны дела нет: лёгкой полоской угадывается она в ясную погоду, если охота и силы остаются выйти к заливу после тяжкой смены да по мокрой гальке в раздумье побродить, путаясь ногами в чахлах водорослях, плавнике и обрывках рыбацких сетей, выброшенных волнами. Море магнитом взгляд притягивает, а все ненужное ему отторгает — доски, бревна, ящики, бутылки. Никогда раньше Евдокия не думала, что море может быть таким грязным. Издали — красота, а вбли-



зи — прости, Господи! Кто ж тебя, синеокое, так замусорил, взбаламутил! “Совесть людская, тёмная! Мысли злые, потаённые!” — отвечают мутные волны, нахлёстывая на камни.

Или чудится?

Далеко на рейде большой корабль-плавбаза застыл серой уткой, а вокруг малые утята-сейнеры теснятся, поспешая на разгрузку. Большому кораблю — большое плаванье, а к пирсу ему не подойти, мелководе. На рейде — в самый раз. Отсюда жидкое серебро, перегружаемое на плашкоуты, потечет на рыбозаводские причалы, заполняя бездонные чаны, и течь ему дальше по резиновым конвейерным лентам через мокрые женские руки, дробящие холодные струи красными от морской соли пальцами.

Аккуратными консервными баночками оборачивается рыба судьба в цеху готовой продукции рыбокомбината на выходе.

250 граммов консервная банка. Сорок розовых кусочков, если сайра идет мелкая, и два-три куска, если крупная. Ошибка опытной обработчицы-укладчицы — не больше пяти граммов. В картонном ящике — 48 баночек шестого номера. Две с половиной тысячи ящиков — вагон. Черпак-норма за смену. Вот и шевелись...

“Откуда взялась рыба сайра?” — первый вопрос, которым дурачат на комбинате вновь прибывших.

Ответ придумали старожилы, а поэтому спешат огорошить новичка:

— Килька и тюлька вышли замуж за евреев: родились детки — мойва и сайра!

Не смешно.

Правду знает старик Чан. Он служит на заводе сторожем, живёт на Шикотане сто лет, и его жёлтое, тарелкой, лицо пристально смотрит на мир сквозь щёлки пухлых век, чем-то похожих узким прищуром на прорези заброшенного японского дота времен Второй мировой войны, оставившей на шершавом лбу бетонного укрепления проплешины глубоких выбоин и пятен зелёного мха-лишайника.

Евдокия видела старый дот на высоком берегу бухты, в скалах, и даже пыталась заглянуть в черноту амбразуры, зарешёченной железными прутьями, но так ничего внутри сырого каменного мешка не рассмотрела. Знать, великая война и на эти дальние края пыталась свой траурный саван набросить, да сорвали его героические советские солдаты, дали достойный отпор японским милитаристам, фашистским прихлебателям.

Евдокия — девушка грамотная, газеты читает.

Старик Чан такой же замшелый и загадочный, как чужой дот. По-русски он изъясняется плохо, местные жители считают его не то корейцем, не то японцем.

Душевной селянке Евдокии, которую выделил среди новеньких каким-то своим особым чутьем, старик рассказал, что его далёкие предки происходят из вымершей народности айны, населявшей в древности Курильские острова. И самый близкий предок одинокого как перст дедушки Чана — стоящий на соседнем острове Кунашире вулкан Тятя, чья белая заснеженная вершина хорошо просматривается ясным днём с берега Шикотана.

Говорят, Тятя похож на Фудзияму, главную японскую гору, и даже считается её родным братом, но кто ж видел эту Фудзияму, чтобы их сравнить, разве что на картинке. Иногда родственнички переговариваются дымными выбросами-сигналами, выражая нетерпение раздуки землетрясением. Но пока потряхивает не слишком часто, видать, свояки не так уж сильно друг к дружке стремятся...

Вначале Евдокия обрадовалась знакомому слову “тятя”. “Отец”, “бабка” по-белорусски. Оказалось — абракадабра, недоразумение. Мастер смены пояснил: по-старому, на языке исчезнувшего народа айны, кунаширский вулкан назывался Чача-нупури, что означает “старик-гора”. Однако ушлые японцы, которые из-за нехватки собственной территории все тихоокеанские острова и островки под себя подмять горазды, не знают слога “ча”, а только — “тя”. Так и появилось у вулкана доброе русское имя Тятя.

Чудно!

Однако самое поразительное открытие сделала для себя любознательная белоруска опять же из баек замшелого Чана — про дивную рыбу сайру.

Блудная дочь северных морей, океанская падчерица неведомых подводных судей. Какие морские токи, какие древние проклятия заставляют рыбы стаи собираться в несметные косяки и устремляться к острову Шикотан со всего Охотского моря и ближних океанских вод, оставляя в пути икру на плавающих водорослях? Акватория Шикотана — единственное судное место для сайры на просторах Мирового океана.

Раз в году, с августа по октябрь, продолжается паломничество, наваждение, сумасшествие. Только самый ленивый капитан, последний рыбак не забрасывает сети и тралы в шикотанских широтах, дабы набить живым серебром ненасытные трюмы. Минтай, треска, камбала, навага, терпуг, палтус, горбуша, кета — всему до поры до времени отставка. Сайра!

Великий обман совершается тёмными ночами, под пляску прожекторов в волнах и иллюминацию горящих ламп, свечение гирлянд, протянутых на мачтах сейнеров и траулеров. Рыбацкие кошелки и тралы светятся в воде тысячами лампочек, заманивая рыбу в раскрытые пасти неводов. Завороженную мерцающим светом, обманутую синими лампами, сайру черпают тоннами и тысячами тонн, а улов, что успеваешь протухнуть до сдачи, безжалостно выбрасывают обратно в море. На дармовое пиршество и чревоугодие вечно голодным чайкам.

Сайрой кормится всяк кому не лень, пока суровые осенние шторма не загонят поредевшие рыбы стада в тихие морские глубины.

Какая же неведомая сила влечет сайру из теплых океанских вод к острову Шикотан — на погибель, на поруху?

“Мечта!” — ответил старик Чан.

“Разве так бывает, чтоб от мечты гибнуть?” — удивилась расстроенная ответом Евдокия.

“Раз в пятьдесят, а то и в сто лет гора Тятя-нупури просыпается от глубокого сна и выпускает жар, накопленный в груди, — продолжил рассказ-притчу последний сын народа айны. — От тяжкого выдоха дрожит земля, кипит море, с неба падает серый пепел, а с боков стекают горящие реки”.

Каждую осень, рассказывал далее старик, сайра устремляется в район заколдованного острова в надежде встретить рождение подводной зари. Заветная мечта каждой рыбешки — искупаться в огненных струях...

Дедушка Чан видел прощальную пляску несметных рыбьих стай, когда ему было всего пять лет, а его рыбацкая семья жила на острове Кунашир. После извержения вулкана Тяти — уже тогда его называли так — наступил великий мор. Сайра полчищами выбрасывалась из кипящей воды на скалы и отмели; птицы и звери издыхали от дохлой рыбы, отравленной пеплом, а рыбаки семьями покидали опустевший после извержения вулкана остров в поисках тихих заводей и нетронутых рыбных полей.

Впечатлительной девушке рассказы старого Чана в диковинку: верить, не верить? Что тут говорить — много ещё в природе непостижимого! Ведь не могут, например, учёные люди найти причину, каким образом перелётные птицы, улетающие в чужие края, туда и обратно находят путь? А рыбы? Попробуй угадать их подводные тропы!

А сама она, будто серебристая сайра, за какой надобностью на край света помчалась, по какой нужде на диковинный остров прикатила за тысячами верст? Киселя здесь хлебать? Как ни суди, ни ряди — обманул девчат уполномоченный Сивцов: никакие паспорта на рыбокомбинате вербованным не выдают, а наоборот, пропуски в пограничную зону требуют. Три месяца сайровая путина, а там — скатертью дорожка.

Других простаков вербовщики на путину заманивают, огромные тыщи за пахоту на рыбном комбинате сулят.

Оказалось, что солонина здесь похлёбка и горчит она незнакомой приправой. Даже чёрного хлеба, ржаного — так вприглядку, а не вприкуску, и едоки сверх меры усердные и бесцеремонные...

Также непривычно Евдокии хлебать из одного любовного корыта: при своем она достоинстве и у себя в чести. Так обольстителю своему, гармонисту беспутному, и заявила при новой встрече, когда явился — не запылелся, вроде бы как с повинной, а скорее всего — отлежаться да отсидеться в тёплой общаге после очередного загула.

Вот тебе, парень, Бог, а вот и порог. У тебя не иначе как в каждом порту жена, на каждой плавбазе — любовница. И вообще, посторонним в бабьем бараке не место!

— Это я-то посторонний? — вскинулся механик. — Да если б не мы, рыбаки, безработными бы все здесь ходили, морскую капусту глодали!

— Моряк — с печки бряк! Известно твое рыбацтво — в стакане да под бабским подолом!

Гармонист было опять про любимую гайку волынку завёл, дескать, чревато её расшпинтовывать, а девушка ни в какую: не хочу обманщика видеть!

У самой же на лице опаска: а вдруг уйдёт и больше не вернётся. Что тогда?

Не ушёл. Может, неохота было отчаливать на ночь глядя, может, надоело слоняться по чужим людям и закуткам, а только сел рядышком, обнял Дуняшу за плечи и душевно так сказал:

— Некуда мне, родная, дальше плыть. Пропаду без тебя...

Может, в шутку промолвил, может, из сердца вырвалось, поди пойми.

А то! Дурное дело нехитрое. Кому уволенный механик нужен — без работы, без денег? Совсем зачахнет без женского ухода и догляда. Посмотреть на него — кожа да кости, пропился до последней копейки, отощал, поизносился... Жалко.

У хозяйки барачного угла и нитка с иглой в запасе нашлись, и руки под то заточены, и душа отходчивая. Где надо, подшила обтрёпанный костюмчик ухажёра, в столовую заводскую покормить сводила. Ничем ведь не обидел, гор золотых не сулил, когда на кровать тащил...

А подружкам по комнате и комендантше барака Евдокия объявила: жених.

Девчатам — дело десятое: не мешался бы только женишок в комнате, глаза б бесстыжие не пялил куда не следует. В тесноте да не в обиде. Еще и при гармонии!

Комендантше тоже не впервой залётных моряков да рыбаков подселять: рассчитается, когда разбогатеет. За этими мореманами дело не заржавеет, не скуются, если при деньгах и в фаворе.

Девушка и рада. Нашлось куда человеку голову приклонить. Днём по общепитию поможет, ночью — “валетиком” в уголке за шторкой поместятся. Лишь бы вел себя тихо, прилюдно не приставал. Как муж с женою жить теперича будут, чего уж там... Назвался груздем, так полезай в кузов.

О таком ли избраннике девушке мечталось, о такой ли жизни с любимым вдвоём грезилось в девичьих снах? Если б знала — ответила.

Свадьбу сыграли, как и положено, но без росписи, отложив законные формальности на потом — до возвращения на Большую землю. Посидели с девчатами за столом в тесной комнатухе, песни под гармонь попели. Фаддей во всех ипостасях блеснул — он и жених, и дружка, и тамада. “Горько!” кричали. Дрожжевую брагу вместо водки и вина пили, потому что сухой закон на время путины на острове был объявлен. Но свинья везде найдёт: понапивалась компания до поросячьего визгу благодаря Фаддеевым дружкам-бичам, прознавшим про свадьбу своего верного собутельника и пришедшим к столу на дармовщину, но со своим напитком — денатуратом.

Зато океанскую раковину невесте принесли. Большую, завитушкой, с перламутровым нутром. Приложишь к уху — море шумит. Чем не подарок на рыбацкую свадьбу?

Невеста всех привечала, никого недобрым словом не сконфузила. Правда, свадебный рушник, матерью завещанный, доставать из чемодана при всех засовестилась.

Расстелила его уже на краю обрыва, у моря, куда пришли и уселись с му-

жем после того, как застолье закончилось, а Фаддеевы дружки с общежитскими девчатами разошлись по бараку веселье продолжать и жениться.

“Краем света” называется на Шикотане редкой красоты скалистый мыс у залива — и будет долго помниться головокружительная стремнина, будет не раз приходиться во снах тёмно-сиреневая морская громада, что развёртывается под ногами внизу и — в неизвестности, попеременно вспыхивая лепестками рыбацких прожекторов, мерцающая огоньками далеких сейнеров, вышедших потемну на сайровый лов, манить россыпью ярких звёзд вверху и их повторением в бархатистой воде... Незабываемая, божественная панорама.

О, берег морской! Оберег! Спаси и сохрани!

Сидела б так на краю вечности ночь напролёт с любым в обнимку, с материнскими вышитыми васильками на коленях...

Как оно впереди сложится?

### Бабье счастье, как бабий век, коротко

Подружиться мужу с женой ещё предстояло, а если верить злым языкам, то не так скоро и просто, как Евдокии казалось.

Многое о себе Фаддей рассказал: хабаровская безотцовщина, фэзушник, с юности мотористом на траулерах Дальневосточной флотилии. Ни кола, ни двора. Нынче — не у дел. Проштрафился перед судовым начальством. За что — молчок. И без слов ясно. Но перед молодой женой хорохорился.

— Тёмная ты, — говорил, — Дуня, глухая! Не понимаешь сути истории, хоть семилетку закончила. Владимир Ильич что завещал? Заводы — рабочим. Земля — крестьянам. А море? Оно, голубушка, — матросам! Вот и пользуйся законными правами! Бери каждый, что унести сможет, на всех хватит! Океан — свобода, воля!

Верила ему Евдокия, хотела верить, но не лежало сердце у сельской жительницы к морским просторам. Пугал ее необъятный океан, удручал своей неукротимой мощью, хоть только с берега и приходилось видеть да теплоходом из Владивостока на Курилы плыть. Считала, что земли держаться надо. В ней — сила и надежда. Кто всех кормит? Она, родимая. Пусть какая ни на есть земля — свойская, колхозная, а на твёрдом стоишь и не вертит тебя, как щепку, над бездонным омутом... А рыба нужна людям не больше как для смаку. Если хлеб на столе, то и стол — престол, если хлеба ни кустика, то и стол — доска.

Вот бы ещё такие простые и очевидные истины дружку своему втолковать! Совсем земную твердь под ногами чувствовать и разуть отвык...

Но, видать, глубоко морская вольница в натуре Фаддея плескалась и отливами-приливами о себе напоминала. Время от времени он исчезал неизвестно куда, пропадал на неделю-другую, пока верная жена его не отыскивала, сбив ноги и сердце, обнаруживая всякий раз в каком-нибудь случайном притоне, в обществе таких же, как и сам, списанных на берег забулдыг и гуляющих баб.

Тащила в барак бесчувственного — одной рукой муженька, другой — гармошку.

А уложив в кровать, спешила на работу, на смену: рыбы животы часами потрошить да головы с хвостами сечь.

Сама голову потеряла.

Ой, лихо!

*Нарадізла мяне маці  
У Святу ю надзелю,  
Ды дала мне ліху долю,  
Што нідзе не падзену...*

Прошло ещё некоторое время, и стала сворачиваться осень, круто замешивая свою прощальную канитель злыми ветрами, штормами.

План гнали на всех парах. Денно и ночью разделочные ленты перед глазами заводских обработчиц мельтешили, баночки с рыбным филе батареями на столах выстраивались, автоклавы, будто огромные самовары, пыхтели, доводя продукцию до нужной кондиции. Плашкоуты, гружённые гофротарой, еле успевали с рейда упаковки с пустыми банками доставлять и тут же перегружать готовые консервы на отправку на сухогрузы.

Евдокия, до чего уж к тяпке и серпу сельской жизнью приученная, однако к концу каждой смены валилась с ног от усталости и недосыпа, а пальцы склизкую рукоять ножа уже не держали. Хотелось порою бросить все к лешему, но нельзя, — план, бригада, смена. Не пустые это слова. Бригадно, ватажно — в привычке и в характере с малолетства, из колхозной беспробудной тяготины, за которую — почти ни шиша. А здесь — настоящими деньгами за каторжную работу платят, а при окончательном расчёте ещё больше обещают. Уже не до паспорта ей, впустую обещанного, не до жиру. Сама в тощую сайру превратилась, только бы кто голову не отсек... Одним держалась: вот закончится смена, а там муженек в бараке ожидает, встречает...

Как бы не так!

Эх, что там рассказывать — натерпелась...

Все надеялась: хоть днём с мужем порознь, зато ночами привыкнут друг к дружке; хоть на работе тяжко, зато после окончания путины — с прибытком.

Да и Фаддей вроде бы присмирел, чемоданным настроением, как и она, проникся.

“Хватит здесь, на морях, удачу ловить, нечего долю в сырых туманах искать, — настойчиво убеждала мужа молодая жена. — У меня, — поправилась: — У нас в Белоруссии хата совсем ещё крешкая, участок приусадебный, коза. Молочком тебя отпоим, всю чахотку морскую из квёлого выведем... И работа механику в колхозе найдётся. Чем не жизнь?”

Фаддей не спорил, отмалчивался.

И то: дурень думкой богатеет.

А когда наступил большой шабаш, когда закончилась великая рыбная путина и стали выдавать обещанный расчёт, счастье с новой силой осветило лица и души всей разношерстной бабьей ватаги, вербованной, понукаемой, заманенной посулами и обещаниями на тяжкую работу, доставленной на маленький остров Шикотан изо всех уголков огромного Советского Союза. Остров только на карте маленький, а за день, неделю его не обойдешь, да и не зачем. Главное, чтоб не забыли доверчивых баб в бухгалтерии.

“Батюшки, сколько! — только и смогла вымолвить ошарашенная обработчица Евдокия после того, как пересчитала, уже в общезитии, тугую пачку новеньких сторублевек, полученных при расчёте. — Тысяча, две, и еще, еще...”

Никогда в своей прежней жизни таких денег в руках не держала.

“Да уж... — ухмыльнулся Фаддей, на глаз определив величину суммы. — Утруска с усушкой по полной программе!”

Догадался хоть механик восторг женщины не омрачать. Слишком долго было объяснять жене царившую на рыбозаводах канитель с пересортицей, процентами, надбавками и вычетами. В любом случае, на Большой земле за три месяца, отведённых на сайровую путину, таких денег простому работяге не заработать. А в колхозе и подавно.

Однако надо отдать ему должное, механик в бабий кошелек на правах мужа, хоть и гражданского, лазить не стал и “обмывать” расчёт не подбивал. Лучше её понимал: намаялась, бедолажка, за свои рубли, словно последний кочегар у авральной топки.

А радости-то сколько! Счастья! Как такую дурить? Не станет он, как иногда подмывало, ноги от простушки делать... Может, и есть она — судьба?

Обратная дорога ещё больше молодую пару породнила.

Доплыли теплоходом до “Владика”, блюдя себя от разошедшейся на радостях и во хмелю вербованной братии, уезжавшей с острова после путины в большом веселье.

А там — поезд, дорога через всю великую страну с длинными перегонами, через сопки, тайгу, пустыни и степи, с уже знакомыми остановками в больших городах; Байкалом и Уральским камнем, за которым, считай, почти дома, и остаётся пару суток до Москвы, а за столицей — до Белоруссии рукой подать.

Семь счастливых дней и ночей. Они, эти сладкие денёчки-ноченьки с ливхой трехмесячный каторжный труд Евдокии на рыбозаводе перекрыли. А если уж точным быть, то для каждого из молодой семьи коротким школьным уроком семейного бытия на людях обернулись, ибо купейный вагон, в котором ехали тоже не одни — с шиком, в комфорте и при деньгах, — это не вольных нравов барак на семи ветрах, пропахший рыбою и гнильем, с хряпцами женщинами за бязевой шторкой, измученными тяжкой работой.

В купе соседи обходительные: “извините”, “пожалуйста”, в ресторан за компанию приглашали, на “вы” разговаривали...

Качает, убаюкивает вагон, будто морская волна. А был ли пропахший рыбьей вонью комбинат? Не приснился ли сумрачный Шикотан, оставшийся в памяти черной точкой за кормой уходящего в шторм теплохода?

Тогда помotalо, но до Владивостокского порта дошли. Что уж нынче тужить, по сухому?

Но закроет девушка глаза: серебристые сайры под водой к спящему вулкану плывут. И дедушка Чан на прощанье рукою машет.

Словно предостерегает — бойся, дурёха, подземного огня...

## Погоня

Родная деревня встретила молодых вчерашним днём. Хата на месте, соседи те же. Эмилька на радостях козу из пуни с возвратом тащит: дескать, намаялась с заразой рогатой, забирай Маннюню, никого не признаёт... А то! Соседи шушукуются: без паспорта девка вернулась, зато с мужем.

Фаддей — в форменной “мичманке”, грудь нараспашку в полосатой тельняшке. Моряк!

Когда свадьба? Как только в сельсовет записаться сходят. За свадьбой дело не станет — музыкант свой и музыка при нём.

Ещё привезла Евдокия в Похмелевку швейную машинку, купленную на вокзале в Свердловске. Хорошая машинка, “Зингер” называется: в чехле, на деревянный чемодан похожа. По тем временам всего две машинки в деревне числились. Одну Куделинова невестка приданым из Полоцка привезла, а вторую хроменькой Меланье сердобольные родители, потряся тощей машиной, купили. Почти полкоровы за агрегат отдали. Дочери, обезноженной с детства, другого полезного занятия в жизни не светило.

Девахи “Зингерами” и стрекотали наперегонки. Считай, всю деревню обшивали.

Евдокия в мать пошла, шить, вязать с малолетства обучена. Теперь к ней заказы потекут.

Но машинка оказалась порченной, нитку не тянула, наматывала “бородой” на шпендик.

— Не шпендик, а шпендель! — поправлял Фаддей.

За малый рост острая на язык деревня сразу же окрестила его “шпендиком”, и механик обижался. Он по механическому делу мастер, чем и гордился, и незнайства в словах не терпел.

“Обманул, мироед, надул, спекулянтская морда!” — убивалась Евдокия, поминая недобрым словом вокзального торгаша, вучившего ей красивую, но с изъяном машинку.

Скорый на руку Фаддей загорелся починить, но еще хуже напортил.

— Я больше по дизелям, тут слесарь-лекальщик требуется, — оправдывался за промашку.

Зато когда механик доставал гармошку, разворачивал меха, сидя на крыльечке, а то и вдоль улицы с нею вечерком прогуливался под руку со счастливой женой, тут уж все пересуды побоку. Гармонист всегда самый почтенный гость на деревне.

На работу устраиваться Фаддей не спешил. Сходил, правда, в Осмолевичи на колхозный двор, возле зачуханного ХТЗ с председателем походил. “Я по другим дизелям, судовым, — был его ответ председателю. — У вашего трактора мощность не та...”

“Сказала бы, по какой части ты мастак, да промолчу, себе дорожке обойдетя!” — рассуждала по этому поводу Евдокия, не в силах забыть мужу шикотанские грешки.

Тем, что до неё было, не упрекала, но и что при ней на Шикотане случилось — не поминала.

Прошёл год. Жизнь семейная стала налаживаться. За вырученные на Курилах деньги хату подремонтировали, барахлишком разжились.

Скромное свадебное застолье вскоре после приезда справили.

Как-то из далекого Владивостока пришла телеграмма (Фаддей называл ее радиограммой), что его срочно вызывает в рейс, как незаменимого механика, капитан Сомов.

— Сам капитан Сомов, что ли, кличет? — встревожилась Евдокия.

— Какой капитан, дура! Из отдела кадров пароходства депеша. Знать, запарка у них перед путиной. Людей собирают, плавсостав... Вспомнили, едрёна кочерыжка! Спихватились!

— А Сомов?

— Судно так называется, “Капитан Сомов”. БМРТ. Большой морозильный рыболовный траулер. Такой меньше чем на год в море не ходит. Я на нем мотористом две путины ломал...

— На целый-то год?

— Ну, на восемь месяцев, может, и меньше... А там как карта ляжет. Зашибу деньгу — и сразу домой. Заживём!

“Не пуцу!” — хотела было воспротивиться молодая жена, но не смогла: острой мольбой загорелись у мужа глаза, бездонной печалью синева в них заплескалась.

Поняла: уедет без ее согласия. Тесно морской душе в захолустной деревеньке.

Сборы были недолгими. Хозяйка только и успела, что простирнула мужу тельняшку с длинными рукавами, собрала бельишка на смену, из провизии — шмат солёного сала с чесноком. Денег на билет из оставшихся “шикотанских” с собой в дорогу дала. Чай, не близок путь, по себе знает...

Сердце не зря болело: не прошло и трех месяцев, как муженёк заявился в деревню при полном параде: в заломленной на ухо фуражке-“мичманке”, под сильным хмельком, видать, не просыхал всю обратную дорогу.

Без чемодана. При полном отсутствии заработанных денег.

Зато с расфуфыренной кралей под ручку.

“Знакомся, — представил, — сестра моя двоюродная, у неё в Слуцке родня. Я тебе о них, кажется, рассказывал... Пуцай с нами поживет... Чего уж теперь, раз объявилась... Как снег на голову...”

Про рейс, заработок — ни слова. Скорее всего, дальше Москвы и не выезжал.

Затюкало у Евдокии сердечко от нехорошего предчувствия, душно ей стало...

Сестра... В глаза бы ей бесстыжие плюнуть, от ворот поворот показать, однако нельзя, боязно... Фаддей, чего доброго, зашибёт, он может, чёрт бешеный... А попробуй докажи, что не сродственница! Какую пакость надумали, какую злобу коварную затаили гулящие души, окаянные головы? Может, наедине с девахой потолковать, выведать замыслы? Авось откроется, проговорится?

Но муженёк от родственницы ни на шаг: будто петух наседку, от посторонних оберегает, как кречет, над нею кружится, никого не подпускает — ни подтупиться, ни выведать.

Только под ручку по деревне свояченицу водит, рассказывает да показывает; с деревенскими знакомит:

“Здесь у нас, Наталья Филимоновна, до войны (как будто жил тут и знает!) лабаз стоял, завалинка осталась...”

“А вот, знакомьтесь, кузнечных дел мастер дядька Илья: по моей, можно сказать, части специалист...”

“Вадька, соседский малец... Хошь, Вадька, пряник?”

Сопливым Вадька, наверное, хочет, только не дожждётся он гостинца от шалопутного Фаддея, зря тот пустой карман выворачивает — гол механик как сокол, все на кралю свою спустил ещё в дороге, мать её за ногу!

*На руки перчаточки,  
На ноженьки галифе,  
Со мной барышня-красотка  
Во малиновом лифе.  
Как надену я тужурку  
Да пресветлую,  
Полюблю себе Машурку,  
Да вот этую.*

С месяц так продолжалось. Евдокия спозаранку на наряд к конторе поспешает: на прополку либо на ферму, а муженёк со свояченицей, или кем там она ему приходится, то на гармонии пиликает день-деньской, то по-над речкой прогуливаются, окрестности осматривают. А что там искать? Поле как поле, река как река...

Люди сказывали, что видели, как миловались они в стожке без стыда и совести среди бела дня. На родственные лобзанья совсем не похоже... И это при живой-то жене!

А то, уединившись в малой комнате, лясы точат, шушукуются.

Хотела уж было Евдокия, мужняя жена, допрос богохульникам со всей строгостью учинить, за волосы бесстыдницу-разлучницу отгаскать, за порог взашей гнать, но однажды, придя домой с работы, обнаружила, что и выговаривать слова правильные, приготовленные, некому: исчезли полюбовники оба.

И швейная машинка вместе с ними и коробкой-чехлом.

Другого в хате взять было нечего: домотканые половики, что ли, выносить разом с пуховыми подушками? Козу из пуни выводить? Так скотина ж днём за огородами... Кому попадя в руки не дастся. А тут заявилась, не звана, бешеная тёлка, блудная да гулящая, мужика со двора свела... Как земля таких носит — расфуфыр бесстыжих? Ни дна ей, ни покрывки, прости, Господи...

*Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду;  
Как попала я в беду,  
Во слезу горячую,  
Разлуку неминуемую.*

Долго ли, коротко ли горевала покинутая жена, как ранним утром, спустя недельку, в низенькое окошко постучали. Глядь, а там разлучница собственной персоной, рукой манит. В хату не заходит.

— Чего тебе? — стараясь не выдать охватившие волнение и страх, спросила Евдокия срывающимся голосом, выйдя на крыльцо. — А ухажёра где оставила?

— Да ну его, шалопута! — ничуть не смущаясь и не пряча глаз, ответила так называемая родственница, вольная птаха. — Сама знаешь пристава-лу... Моё последнее выманил на опохмелку. На вот “Зингеру” свою, забери, без надобности мне...

— Ой, ли? — усомнилась хозяйка, принимая из рук ранней посетительницы коробку со швейной машинкой. — Вещь дорогая, в хозяйстве нужная... Или вы врозь теперь? Не думаете вместе?

— Вкривь да вкось, да не срослось! Принимаю имущество, мне чужого не надо. Фаддея твоего слово было, не моя нажива. Мужика отбить могу, а добро с чужой хаты — ни в жисть... Так и знай... Того и вернулась, чтоб проклены не слала вдогонку...



— Фаддей-то где? — перебила девушку Евдокия.

— А! — безнадежно махнула рукой Наталья. — С шахтерами увязался. Из Солигорска они. В Кузбассе путь держали, бригаду собирали. Была там, правда, одна лахудра с ними в купе. Как реней к собачьему хвосту, твой к ней прилип, не оторвать...

Не зная, ликовать ей или оскорбляться, Евдокия повела соперницу в дом. Подальше от соседских пересудов. Невзирая на обиду, что увязлена, виду не показала.

Покормила незваную гостью с дороги. Исповедь сиротскую, подперев щеку кулачком, выслушала. Родители у Натальи развелись уже давно, вот она после интерната (при живых-то отце с матерью!) и ищет свою судьбу в поездках да на курортах. Как будто серьезные мужики за женами в дома отдыха и санатории ездят: им бы пузо на солнце погреть, покобелячить вдали от семейных забот...

Эх, девка! Не там ищешь...

Напоследок, прощаясь, всплакнули в четыре ручья над долей бабьей горемычной, над лихой женской судьбиной. Сколько таких баб, да ещё в сотни раз отчаянней и горемычней, встречала Евдокия на Шикотане!

— Куда сейчас? К родичам в Слуцк? Фаддей гитарил, вроде тётка у тебя там обитается... И семья у неё...

— Поеду к тётке, авось примет, — без особого энтузиазма ответила Наталья. — Может, замуж выйду, хватит уж куролесить по свету...

— Замуж не напасть, да как бы замужем не пропасть! — назидательно сказала Евдокия, а думала совсем о другом: где ж ненаглядного нелёгкая носит? Должен же появиться со дня на день, если опять в какую-нибудь карусель не заплутался... За ним не заржавеет.

А от сердца отлегло. Ничего серьезного у Фаддея с Натальей, значит, не сложилось. Пусть только явится, кобель бесхвостый! Она-то уж найдёт, чем беспутного допечь! Не мытьём так катаньем...

И Фаддей вернулся. Вскоре после визита Натальи. Как и она, явился ранним утром: пришёл пешком огородами со стороны узловоей железнодорожной станции, что километрах в семи от деревни.

Евдокия, разбуженная стуком в окно, подхватила с кровати. Глянь, стоит: нетрезвый, грязный, в пиджачке с чужого плеча с надорванным рукавом...

Охнув, выскочила во двор, как была, в исподнем и босиком. Даже шаль на плечи не накинула.

Батюшки, где ж его черти носили? В какую катавасию влез?

С расспросами, что да как, Евдокия лезть сразу не стала, но и Фаддей немедленный допрос упредил, выдохнув хриплым, незнакомым голосом, отдав горечью застарелого перегара:

— Баньку затопи, в баньку мне надобно...

Пока то да се, в ожидании горячей воды и пара, уставший до чёртиков путник улёгся передохнуть на полатах в предбаннике, куда Евдокия принесла из хаты кой-чего перекусить и полбутылки самогона. В самый ему будет раз.

Фаддей только голубыми глазами благодарно зыркнул — и уже потекло слезой, защемило жалостью женское сердце, готовое любить и прощать.

Золото, золото сердце бабье! Самоварное да суконное, мужней лаской и вниманием не избалованное...

Главное, что жив-здоров муженёк непутёвый; не верится, что прибился, наконец, ко двору... Целехоньким.

Только потом, когда тесная каморка баньки, расположенной на задворках, наполнилась несмелым теплом, когда первый, неокрепший и горьковатый пар окутал два белых тела — одно, не тронутое загаром, другое — в намокшей ночной сорочке — Евдокия разглядела ссадины и синяки на мужниных боках, кровоточины на сбитых коленках и костяшках пальцев, показавшиеся поначалу засохшей грязью...

— Где же тебя угораздило? — выдохнула женщина, давась состраданием.

— Шахтёры, едри их кочерыжку! Трюмные души, мать их ети! Бабу приревновали! — начал материться Фаддей. — Нужна она была мне, как

зайцу лыжи! Так, для куражу... Да если бы не проводник... Гармошку жалко...

“Про машинку даже не заикнулся! — больно укололо Евдокию. — Да что машинка, — подумала тут же. — Дома она, за сервантом стоит. А гармони действительно будет в хате недоставать. Как же теперь — без припевок, без побасёнок песенных с понятным намёком и затаённым, известным лишь им двоим, жизненным смыслом? Хотя песнями сыт не будешь... Что-то кашляет муж некрасиво... Как бы внутренности ему не отбили в пьяной драке. Ишь, хорохорится, Аника-воин! А глаза и бока, как у побитой собаки. У чужих людей жалости не допросишься, если что, бьют без оглядки, насмерть...”

Веничком надо, веничком погорячей: баня правит.

Евдокия, принявшись за помывку, заодно лишний раз и мужнину татуировку разглядела, оставив на потом все досужие расспросы и разговоры.

Знатная была у Фаддея наколка. На самом что ни на есть срамном месте, которым лавку трут. Сколько раз, бывало, выспрашивала после того, как нагишом муженька впервые увидела: что это за черти на ляжках у него изображены? Только отмахивался...

А на мужниных, надо полагать, флотских ягодицах неизвестным умельцем наколоты два судовых кочегара в чёртовом обличье: в тельняшках, с торчащими рожками, копытами и длиннющими хвостами, закрученными затейливым вензелем. Каждый из них держит в когтистых лапах по длинной кочерге направлением... в “топку”. Только зашевелится человек, сделает пару шагов — чертовы работнички тут же оживают, каждый со своей стороны в “топке” шурудит... И чем быстрее ходьба, тем веселей у кочегаров работёнка. И смех, и грех...

— Ошибки молодости! — оправдывался перед супружницей механик. Ради баловства, бесшабашного озорства корабельные товарищи такую картинку ему на заднем месте по пьяному делу выкололи. Глубоко въелась тушь в кожу. Вовек не свести.

А на все женины укоры Фаддей вполне резонно отвечал, дескать, не будут же ему в отделах кадров в штаны заглядывать: для знакомства трудовая книжка имеется, а еще санитарный паспорт моряка и удостоверение механика-дизелиста судовых механизмов. Классного, между прочим...

А пока я вахту держать, как в песне поётся, не в силах, то поддай-ка, жена, пару и чарку налей, что-то мне нездоровится...

И действительно, стал Фаддей с этого дня заметно сдавать. Знать, не прошло бесследно падение на ходу с поезда, когда подгулявшая компания шахтёров, к которой он бесцеремонно прибил в вагоне, решила избавиться от пьяненького назойливого спутника с гармошкой. Благо, хоть не на полном ходу вытолкнули из тамбура, а на тормозном участке, где-то под Смоленском. Спутница шахтёров, перед которой Фаддей и начал без устали куражиться да бахвалиться, ещё раньше от нагловатого ухажёра отшатнулась. Тоже и Наталья. Вовремя *сделала ноги* от женатого мужика, оскорбившись столь пренебрежительным к ней отношением и неясной перспективой на неведомых угольных шахтах Кузбасса. Прихватила для сохранности “Зингер”, о котором разгулявшийся Фаддей напрочь позабыл.

Оказавшись на обочине, без денег и вещей, Фаддей добирался до дому из-под Смоленска на перекладных: где товарняком, где на попутных пассажирских поездах — до первого контролёра...

Всё это Евдокия выпытала у мужа опосля. И лишний раз за измену не корила.

Кочегары в тельняшках, между тем, дело свое поганое делали — чах человек день ото дня...

Евдокия, тьфу-тьфу, даже взаправду считать стала, что вся причина мужниной хвори в этих самых чертях-кочегарах, без жалости терзавших его нутро. Уж как старалась, сердечная, болезному угодить, шагу лишнего ступить не давала, дабы чертов подряд не усугублять: полежи, Фаддеюшка, отдохни, не хватается за топор и косу, незачем при квёлом здоровье себя утруждать, лишние шаги по двору натаптывать, сама управлюсь, не впервой...

Но, видать, синий чертяка под кожей, что из бесовской пары за главного, с левой которой, значит, стороны, ещё сильнее в мужнины кишки железом залазил, ещё азартнее калёным крюком нутро выворачивал... А рогатый напарник, злоствуя, ему усердно помогал.

И так, и сяк женщина воображаемых бесов уговаривала, пыл их утихомиривала, льстивыми словами ублажала, дабы умерили свое кочегарное занятие, а те — ни в какую: мол, работники мы договорные, подневольные, незримым зарокотом к топке прикованы, ни отойти, ни передохнуть... Один лишь исход знаем: заливать адский огонь водкой с вином, тогда уж наше старательство без надобности...

“Поэтому муж мой, наречённый, и пьянствовал все годы беспорядно, жар в нутрах заливал, по свету носился как угорелый, по морям по волнам?” — вопрошала в ужасе Евдокия.

“Может, так, а может, и нет. Нам доподлинно сие неведомо. Невольные мы, крепостные. А кто терпеливее в самом жарком пекле окажется, тот и важнее в жизни станет. И голову нам, баба, не морочь. Песенка твоего муженька давно уже спета. Неча было гармонь профундоковать, на молодух засматриваться... Ему, дураку, свыше было велено: с тобой, убогой, до самого смертного часу якшаться, холить тебя и любить. А вот оно как все вышло... Так что за горькую правду не обессудь...”

“Это ж какая я убогая?! — возмутилась Евдокия. — Господь меня не обидел: руки-ноги целы, и спереди, и сзади всё есть, и лицом не страшна, и статью не хуже других...”

“Так-то оно так, — отвечал чёрт-кочегар, — да вот жалостливая ты чрез меру, значит — ущербная...”

“Изуди, лукавый, брешешь ты все! Собака лает — ветер носит!”

“В языке кость — твоя злость. Наша правда!”

“Не бывает такой правды, чтоб люди от нее страдали! Неправда это!”

“Как знать...”

Наяву ли происходили разговоры с бесенятами, что в кочегарском обличье жили, блазилось ли Евдокии тревожными ночами под мужниным боком, но только не раз и не два прижималась она чутким ухом к потной груди и животу спящего Фаддея, пытаясь понять, что же у него в середине происходит: бушует, сердится огонь или на убыль пошел?

Хрипело в груди, булькало в кишках... Плохи, значит, дела...

Ой, лихо!

Даже от чарки стал отказываться: не было сил бесовское пламя гасить.

Так продолжалось ни шатко, ни валко несколько годков. Все домашнее хозяйство оказалось на женских плечах: и на работу в колхозную бригаду попевала, и по дому. У мужа только и сил хватало, что на соседской гармошке поскрипывать да, сидя на порожке, умные советы хозяйке подавать. А чужая музыка — не своя, под чужую петь-плясать не резон, да и не сладилось у музыканта совладать с инструментом: простужен баян и клавиши не в том порядке.

Евдокия и не сердилась: как-никак муж в доме, а мужики, как известно, уже только главенством жизненные силы питают, умом стараются верховодить, если на всё остальное не способны... Сама свое счастье отыскала, привезла за тридевять земель и на порожек хаты усадила: любуйся — не хочу. Пенять-то не на кого. Такое ей счастье, выходит, выпало — кочегарное, хворое. Но зато — душевное, песенное. А оно, согласитесь, дорогого стоит...

Перед кончиной Фаддей посветлел лицом. Тусклый огонек, блеснувший в глазах, ожёг склонившуюся над умирающим мужем Евдокию синими угольями.

— Дуняша... — прошептал чуть слышно, а никогда так раньше не называл. — Не видеть мне боле синего моря и берегов заморских. Знать, не судьба. Прости. Хочу признаться, повиниться перед тобой... Сил больше нет таиться...

— Что, Федюшка, что, родненький? Да в чём же ты можешь быть виноватым? Это я, растяпа, тебя не уберегла, недоглядела...

— Молчи. Слушай. Поезжай в город Вологду. Найдешь там Фатееву Татьяну Семеновну. Если застанешь. Адрес в адресном столе дадут. Передай: так, мол, и так, убыл Фаддей Ермолаевич в кругосветное плавание. Навсегда. Кланяться велел...

— А кто ж она тебе будет? Жена? Подруга? Что ты раньше о ней не рассказывал?

— Никакая не жена... Буфетчицей у нас на судне была.. Вся жизнь моя из-за нее наперекосяк. Ты уж прости дурака. Тебя любил... Обязательно исполни...

С тем и отошёл. В чем повинен перед женой, сознаться не успел...

И показался онемевшей от горя Евдокии неестественно маленьким и худеньким, как беспризорное дитя, лежал на широкой кровати впрыток к коврику-картинке на бревенчатой стене. Отвернулся ото всех, будто разбитый на весь мир, и затих, неприкаянный...

А на той картине, тканной разноцветными нитками, мчатся по зимнему тракту среди дремучего леса сани-розвальни с запряженной бешеной тройкой взмыленных коней.

Гонится за саними голодная стая матерых волков, в прыжке норвоя ухватить за горла гривастых лошадок.

Выбились из сил залётные кони. Пена падает хлопьями с измученных боков. Догорает рогожка с соломой на задниках саней. Закончились заряды в ружьях ездоков. Вокруг дремучий лес, и жилища за поворотом не угадываются. Лютая смерть близка...

Ой, лихо!

Чу! Доносятся ветром переборы далекой гармошки:

*Ты прощай, моя сторонка,  
И деревня при реке,  
И деревня, и садок,  
И пашенка, и лужок,  
И коровушка Красуля,  
И зазнобушка Акуля...*

Аккурат такую песню Фаддей напоследок играл. Будто чувствовал близкую кончину.

Выходит, что дурь свою морскую, пьяную, наплевательскую на земные радости, этой же дурью и прикрывал до самой смерти. Имелись, значит, в бродяжьей душе и пашенка деревенская, и заветный лужок, и зазнобушка сокровенная, коль на уста попросились...

Коврик, что висел неизвестно с каких пор над кроватью, давно уже глаз намозолил. И не замечала его в хате хозяйка. Только Фаддеева кончина заставила взглянуть на вышивку другими глазами. Кажется, когда Дуняшка была ещё девчонкой, перед войной, коврик с волчьей погоней отец привез гостинцем с ярмарки из райцентра. Свыклась с ним. Бывало, лежа подле картинки на топчане, все додумывала, представляя, чем может закончиться сцена лошадиной скачки. Унесутся ль сани от погони? Ускачут ли от волчьих клыков резвые лошадки? Должны ж отыскаться в подсумках ездоков запасные заряды и пули, чтобы сразить злых голодных хищников! Должна ж подоспеть экипажу подмога — с меткими ружьями, с огнём, с верными псами! Кажется, уже звенят за поворотом бубенцы многолодного санного поезда, догоняющего одинокую тройку... Вот-вот распахнется за краем картины широкое поле, и лихая упряжка, вырвавшись на простор, унесёт людей от смертельной опасности!

Чего только не рисовалось в девичьем незрелом мозгу!

Похоже, и позвали кони в дорогу. А может, это и есть наша жизнь — вечная погоня неизвестно за чем?

Никак не шла из головы Евдокии предсмертная просьба мужа: поехать в далекую неведомую Вологду и отыскать там некую буфетчицу Фатееву Татьяну, его морскую подружку. Может, задолжал ей сильно? Может, через эту женщину грех несмытый висит на нём и не даст покоя даже в могиле? Может, ещё какая-нибудь тяжкая провинность связывает обоих, и требует-

ся непременно разорвать обузу, чтоб не томила неисполненным обещанием? “Надо ехать! Последний долг мужу отдать! — решила Евдокия. — А где эта Вологда?”

— Вона где! — махнул рукой в северную сторону дежурный по станции, куда Евдокия на досуге сбегала в разведку. — Доедешь пассажирским до Орши, там пересадка, через Смоленск на Москву, а оттуда дорога во все концы. В вологодскую сторону тоже, — пояснил дежурный.

Евдокии и не боязно: поезд куда угодно довезёт.

Не удержалась, похвасталась:

— А я уже ездила далеко. На Дальний Восток!

— Да ну! — удивился дежурный по станции и внимательно посмотрел на Евдокию, сельскую жительницу. Девка не девка; молодлица не молодлица. На всякий случай спросил:

— А сколько ж тебе лет, красавица?

— А сколько, дяденька, дадите? — созорничала Евдокия, как бы невзначай сдергивая, поправляя на русой голове тёмный траурный платок, старивший её.

— Да ты совсем ещё молодая! Поди, и двадцати пяти нет?

— Я уже замужем была. Мужа недавно схоронила... — неожиданно для себя призналась Евдокия незнакомому человеку, интуитивно ожидая встретить равнодушие в чужих глазах.

— Ох, беда, — засуетился железнодорожник, не зная, что и ответить на неожиданное признание и как вести себя дальше с женщиной в трауре, окликнувшей дежурного по станции обыденным, давно набившим оскомину вопросом: как проехать и сколько стоит билет.

Но, значит, было в этой серенькой пташке что-то настоящее, сердечное. Не какая-нибудь финтифлюшка. Таким всегда стараются угодить. Хотя чаще всего простушки, вроде этой, ни о чём не просят, а только спрашивают...

— Ты приходи, дочка, когда надумаешь ехать, посажу, помогу...

— Ещё чего! — беспечно махнула рукой Евдокия. — Я сама! В поезде хорошо: чай носят, станции объявляют... Даже выходить неохота...

— Значит, на родину мужа поедешь? — высказал догадку дежурный. — А сама откуда будешь, чьих?

— Из Похмелевки. Козлова-стрелочника дочка. А по матери — из Осмоловских, Бончей.

— Козлов? А как же, знаю! Знал... Он у нас на узловой до войны работал! — обрадовался железнодорожник знакомому имени. — Жив батька-то?

— Убили на войне, — тихо ответила Евдокия, вогнав собеседника в ещё большую неловкость. Как будто бы и его вина была в том, что и мужа она похоронила, и отец у неё, такой не по годам серьёзной и, по всем признакам, горделивой девахи, на недавней войне погиб.

Прозвучавшее дополнение — из каких именно Осмоловских женщина родом — многое собеседнику сказало. Добрая половина населения деревни Похмелевки и более крупных Осмоловичей, где и располагался железнодорожный разъезд, носила фамилию Осмоловских, причем с почти забытой приставкой “Бонч” — это белорусско-польская ветвь. К ней еще относились Бонч-Судзиловские, Бонч-Будаговские и другие “бончи” с окончанием основной фамилии на “ий”. Древняя кровь.

Другая часть жителей объединялась дальним, вода на киселе, родством, среди которых самые знатные в неизвестном прошлом фамилии звучали и писались когда-то с обязательной приставкой “Корч”.

Затем по численности в округе шли Пашкевичи, Валкевичи, Саковичи...

Остальные жители значились под чисто русскими именами — Козловы, Кудловы, Матохины, Кулагины, Коротцовы, Калугины...

Земля Могилёвщины, словно трёхведёрный чугу́н с наваристым борщом, какой только людской овощ в ёмкость свою не приняла и не переварила: здесь и могилёвские, и брянские, и смоленские, и гомельские... А для приправы — польские, литовские, татарские и еще Бог знает какие коренья в общей похлёбке за века взопрели... Хлебай — не хочуй!

Со временем приставки, а стало быть, и двойные фамилии из обихода исчезли, ветви и побеги пересеклись, перемешались, люди в округе переродились, стали разговаривать, общаться главным образом на белорусско-русском наречии с вкраплением редких польско-литовских выражений и слов. Однако у большинства местных жителей не искоренилась продиктованная генетической памятью убежденность в том, что Осмоловские, да еще из “Бойчей”, — это самые-самые: независимые, гордые, своенравные. А все остальные, в том числе выделившиеся в самостоятельную ветвь “Корчи”, — людишки с бору по сосенке, конечно, не последние, но и не высшего сорта.

Исходя из этой доморощенной иерархии ценностей, негласно считалось, что у Евдокии Козловой, а по матери — Бонч-Осмоловской, имеется примесь польских кровей, о чём она сама никогда не думала и о чём никто обычно не говорил. О происхождении вспоминали в тех не слишком частых случаях, когда представители давно растворившегося в людских пластах бунтарского рода проявляли себя выходящим из привычного ряда образом, отличным от поведения и поступков среднего большинства: невесты удирали из-под венца к нищим женихам, женихи вешались и стрелялись из-за неразделённой любви к богатым избранницам, и те и другие без колебаний отправлялись за жар-птицей в неизвестные дали и края, и все вместе — отличались внутренним благородством, негромким достоинством и совестью.

“Гонору слишком много”, — оценивали окружающие неординарных односельчан, причем произносилось это выражение с гордостью за тех, к кому такая, вроде бы и нелестная оценка относилась.

А если уж копать в генеалогическом древе Евдокии более дотошно, то следует сказать, что её бабка Тереза была привезена в соседнюю с Похмелевкой деревню Богдановка польской помещицей пани Богданой задолго до Первой мировой войны откуда-то из-под Ченстохова. Со временем любимая служанка (поговаривали — внебрачная дочь барыни) под фамилией пани была выдана замуж за панского кучера Кирея Козлова, родом из русаков. А потом отпущена на вольные хлеба в придачу с небольшим земельным наделом. После смерти старой помещицы невесть откуда взявшиеся наследники выселили Терезу с семьёй из подаренной хаты, а земельный надел, на который пани Богданова не удосужилась оформить никаких дарственных бумаг, отобрали. А Тереза уж была беременна Илларионом, будущим Дуняшкиным отцом. Пришлось тогда бывшей служанке, нечаянно ставшей “панёнкой”, наниматься вместе с мужем на смолокурные заводы своей прежней благодетельницы, а возможно, — родной матери, перешедшие в руки многочисленных, смешанных по крови родственников покойной.

Кустарные производства по выпуску дегтя просуществовали до тех пор, пока рубщики и углежоги не вывели в округе берёзовые леса, а их владельцев окончательно не уничтожили войны, революции и реформы.

А фамилия осталась...

— Значит, Осмоловская? — уважительно повторил-переспросил дежурный по станции, во все глаза глядя на ожившую под непряздным его вниманием молодую женщину.

— Не-а, Козлова! — специально наперекор поправила Евдокия.

Такие уж мы, Осмоловские! Которые — Бонч...

А для себя она уже твёрдо решила: надо ехать.

Никто Евдокию отсюда провожать не станет. Разве что деревенский дурачок Муравчик — станционный завсегдатай, притащится по своему обыкновению в такую даль к вечерним поездам.

Редкий из составов останавливается на забытом Богом железнодорожном полустанке на положенные по расписанию три минутки. Пронесётся поездка по путям с ветерком, озабоченные, скорые — на Костиюковичи, на Могилев, на Оршу, на Смоленск.

А горбатый Муравчик, названный родителями, будто в издевку здравому смыслу, Володомиром, каждый день приходит их встречать-проводить. Задом и тех сельчан и гостей, кто отправляется либо приезжает пассажирски-

ми поездами. Всех он знает и каждому из местных тоже знаком. Володомир — этим всё сказано.

Но главным образом проходят мимо Осмоловичей длиннющие товарняки, обдавая стоящих на обочине людей тёплым ветром, напитанным запахами дальних дорог.

Дышит “чугунка” сгоревшим углем, мазутом, мимолетным праздником, которого всегда очень ждёшь и который проносится так стремительно.

Бывало, в детстве положишь тайком от взрослых на тёплый рельс пятак — и ждёшь, когда прогрохочет состав, затихнет вдали, чтобы оставить в щёбёнке меж промазанных шпал стёсанный тяжестью чугунных колёс блестящий кругляш.

Спрячешь монетку в ладошку. Горячо!

Евдокия помнит те проводы, вовек их не забыть. Не её — дальневосточные, а отцовы — военные... Станцию эту помнит: кирпичное зданьице и дощатый перрон, пристанционный буфет, считай, единственное людное место в округе, оживавшее по прибытии редких пассажирских поездов и на время ещё более редкого завоза пива. Тогда уж вокруг пивного бочонка — людей невпроворот. Но бочонок быстро опорожняется, и буфетчица без посетительей скушает, не зло задирает расспросами добровольного помощника Муравчика, а чаще запирает дверь и уходит, вывесив захватанную табличку “Ушла в сельпо”. До следующего пассажирского.

Одни хлопоты — и незнакомая Вологда впереди. Что там её ожидает?

### Вологодские кружева

*Ой, балота-балотачка,  
Там хадзілі сiротачкі  
Да збіралі ягодачкі.  
Збіралі, гаварылі:  
— Ці нам сесці іх паесці,  
Ці нам браці дамоу несці?  
А панясём мы да крамкі,  
А купім мы татку з мамкай.  
Усе крамкі абхадзілі —  
Татку з мамкай не купілі...*

Считай, всю дорогу от Осмоловичей до Москвы и дальше — до самой Вологды донимала Евдокию эта песня. Ехала молодая вдова — не радовалась, в неизвестности предстоящего грустила. А из вагона как будто и не выходила вовсе: казалось, как села когда-то в поезд направлением на Владивосток, так и продолжают проноситься за окошком станции и полустанки, поля да леса. Разве что долгая остановка позади осталась — лет эдак на пяток. Ровно столько, сколько прожили с Фаддеем в Похмелевке. Жили-были, не тужили, да деток не нажили.

И все вроде бы оборачивалось сном, приметой в руку: кони на коврике — к дороге, позабытая песня-плач — к сиротству.

Проводы отца ещё раз вспомнила, своих рано умерших сестёр и братика.

Дуняшка первенцем, старшей в семье была, поэтому последыши в памяти задержались. Остались бы они живы — наверное, подробности бы не сохранились, а так...

Сестричка Елизавета отдала Богу душу в пятилетнем возрасте. Любила её очень Дуняша, нянчила, на руках носила. Лизка хоть и вредная была, плаксивая да капризная, но отходчивая и глупая. Уступи ей игрушку — она и рада-радешенька. И не столько игрушке, как тому, что уступают, потакают. От scarлатины сгорела.

С Матрёной, родившейся вскоре после смерти Елизаветы, и вовсе хлопот не было. Сосёт себе хлебный мякиш, в тряпицу завёрнутый, сонит, — няньке и горя с дитём нет.

Спала, спала девочка почти до четырехмесячного возраста — и однажды не проснулась. Чем болела — неизвестно. Бог дал — Бог и взял.

Братик Афанасий, Фронька — до трех лет прожил. Шалун, забияка. Батькина, Козлова порода, как говаривала мать. Этому хоть кол на голове теши, всё одно поступал по-своему. У Фроньки с малолетства манера проявилась: убежать от взрослых и прятаться. Оставишь его на минутку без пригляду, а он уже за порогом, в бурьяне или в собачьей конуре... А то и вовсе — за плетень и бежать без оглядки куда глаза глядят... Набегался на свою гибель: простудился, заболел и зачах.

Детей похоронили на кладбище под названием Грязевец в Осмоловичах. Три крестика над куцыми холмиками. На каждом кресте мать повязала поминальный рушник с вышивкой. Дуняша подбирать и вышивать на них узоры помогала. Почти каждую весну выцветшие рушники на крестах меняют на новые.

В селе есть и другое кладбище — Бривица: крестов и постаментов с фамилией Осмоловские там тоже хватает...

Есть на нём одна памятная, очень старая семейная могилка, и не одна, а целых три. Две из них — тоже детские. Третья, взрослого покойника, не чужого им, — за кладбищенской оградой.

Страшная родовая трагедия связана с этими захоронениями.

В году 1903-м, когда злые родственники выгнали служанку Терезу из дарёной хаты и отняли жалованный пани Богданой кусок земли, подрастало у неё в доме трое детей — пятилетняя дочка Мария и двое мальцов-близнецов, Андрейка и Василь. Их отец Кирей, как говорили очевидцы, не то умом тронулся от постигшего семью разорения, не то запил с горя по-чёрному, но только нашли его в хате с перерезанным косою горлом, бездыханным. Но прежде чем самому Богу душу отдать, порешил отец той же косою двоих несмышлёных малюток...

Тереза дочку-кровинушку уберегла, а вот малых — не сподобилась, так как была с дочерью в отлучке...

А через пять месяцев после трагедии родила еще одного сына, Иллариона — будущего Дуняшкиного отца.

Души невинных младенцев над тем проклятым местом, где стояла хата бабы Терезы, долго еще витали, пока однажды осенней грозовой ночью молния её не спалила...

Кирей-душегуба батюшка хоронить на кладбище запретил.

За детскими могилками родственники приглядывают из поколения в поколение...

Вот как с этим жить? А приходится...

Ветры жизни не щадят житное поле, мнут его бури с дождями без разбору и всякой жалости. Но горе в ней одинокому колосу, ничейному цветку: всяк может его пригнуть.

Наверное, поэтому колос к колоску прижимается, цветок к цветку вяжется...

К чему эти мысли?

Села себе да поехала. Как и положено, с плацкартным билетом. Чем она хуже других?

Но чем ближе к конечной станции, тем тревожнее у Евдокии на сердце становилось. Стук да перестук колёс на стыках — прыг-скок в груди сердечко. Даже от чая, что проводница разносила, отказываться стала. Хотя знатный был чаёк, и сахар-песок завернут в красивые пакетики. Целую горсть голубеньких конвертиков припасла — сэкономила про запас, чтоб в деревне по возвращении показать.

Московской оказалась поездная бригада, а в поезде все под одну гребенку: скатерти на столиках, салфетки в вагоне-ресторане, куда Евдокия специально ходила посмотреть.

И проводницы в блузках с вязаными кружевными воротничками под тёмными форменными жакетами. Наверное, это и есть — знаменитые вологодские кружева.

Ну, а лица-то — поди их разбери: московские, вологодские, костром-



ские, ярославские? Румяные да круглые, с голубыми глазами и в большинстве — русоволосые. Не спутаешь — Расея.

Евдокия и сама мастерица, поэтому рисунок платков и крой платьев примечала. Не специально старалась, а по привычке, чтоб мысли дурные отогнать и предчувствие спугнуть.

А вдруг там, на конечной остановке ждет Дуняшу злодейка-баба Фатеева с острым топором, и придётся перед ней, стервой, ответ держать: куда увезла дружка Фаддея и что с ним в *похмельной* белорусской деревеньке сотворила? А тот, бедолага...

Век бы соперницу не выдывать, имени не знать, слово обязывает.

“Вологда — волок — волокно — иволга” — начали пересыпаться в голове Евдокии невесть откуда взявшиеся слова-горохи, вторя затихавшему говору поездных колёс, замедлявших перестук с приближением к конечной станции.

Но вот звуки окончания пути пропали, взвизгнув напоследок испуганной птицей.

Приехали. Вологда.

Однако не стерва Фатеева на скучном перроне озабоченную пассажирку встречала, а местный проныра, высматривающий в редком ручейке прибывшего народа раззяв и простофиль. Видать, селянка Евдокия — в цветастом платочке на волосах, полосатом жакете поверх длинного серого платья, в носочках на загорелых лодыжках да с нелепым ридикиюлем под мышкой — легкой добычей “напёрсточнику” показалась, ибо зорко весь неуверенный путь незнакомки по перрону он проследил, от киоска “Горсправки” до края площади с выходом к центру. Как раз возле того места, где мухляр свои беспронгрышные “три напёрстка” выставил на перевернутом ящичке и народ зазывал. В этот момент Евдокия бумажку с адресом гражданки Фатеевой, прочитав, в кошелёк прятала и денежными купюрами, взятыми в дорогу, шелестела.

Вот тут прощелыга перед залётной гражданкой и возник:

— Не проходите мимо своего счастья, мадам!

Евдокию будто по глазам ударило, и сердце в кулачок сжалось. Именно так ее Фаддей — земля ему пухом — женский пол задирает и “мадамами” голову морочит. Поэтому и остановилась, задержалась.

А “напёрсточник”, воодушевившись замешательством приезжей, взялся за своё:

— Пан или пропал! Удача вас не покинет, мадам! Слева, справа, середина — тут и водка, и конина!

Вдове сразу вспомнились Фаддеевы прибаутки, припевки. Другой бы на её месте невдомек, что “конина” — коньяк, а она от супружника своего покойного это давно знала. И как избавляться от назойливых приставал-лотерейщиков, гадалыщ и непрошенных помощников-жуликов, особенно дорожных, битый жизнью, Фаддей, моряк и бродяга, когда-то жену научал от нечего делать во время совместного житья-бытья в деревенском захолустье.

Многое также подсмотрела и вызнала у своих дальневосточных подружек — обработчиц, среди которых встречались — оторви да брось. И бластные с гулящими, и бывшие зэчки с поселенками. Школа у них известная — базар, вокзал, тюрьма, “малина”...

Тут главное — прикинуться “валенком” и ошарашить наглеца неожиданным словом или поступком. Создать нестандартную ситуацию, как говаривал Фаддей.

— Согласная я. Один — к трем. Но играем моим камешком. Деньги — на бочку! — неожиданно для себя небрежно промолвила Евдокия и вместе с сотенной бумажкой, единственной, что имела за душой ещё со старых “рыбных” запасов и которую доселе разменять не решалась, протянула игроку жемчужную бусинку — одну из немногих сохранившихся от разорванных бус, подаренных мужем на свадьбу. Из потёртого материнского ридикиюля достала.

У “напёрсточника” глаза округлились. Как у замороженного красного окуня, попадавшегося обработчице на рыбозаводе среди сайры и селедок. Жемчужина, сразу убедился, настоящая, а “хруст” с Лениным — и подавно.

Выложил на “кон” свои — “зелененькие”, “красенькие”, “синенькие”. Отмусолил три сотни рублей.

То ли парень от неожиданности страх потерял, то ли от предчувствия легкого “фарта” словчить поспешил, однако бусинку под колпачок засунул, а не в рукав или меж пальцев, как у мухлевщиков принято. Со своим камешком-кубиком такие фокусы перед лопухами проделывал. А тут — обмисулился.

Глазастая незнакомка наживленный напёрсток заметила, как бы троичу парень ни тусовал и внимание соперницы ни запутывал.

Приподнял указанный девушкой колпачок — есть!

Евдокия денежки сразу в горсть — и за лифчик. Жемчужину туда же.

— Куда, маруха? — возопил ошарашенный неудачник. — А отыграть-ся? Давай ещё!

— Карте место! — парировала Евдокия заученной Фаддеевой фразой. — Кум, брат, сват, а деньги не родня. Не хочу больше играть. Не буду фарт ломать...

“Напёрсточнику” крыть нечем. Подельщиков, с которыми в сговоре, из-за раннего часа за спиной не оказалось. Да и деваха, во всем признакам, ещё та... Всяма некстати вдали милиционерская фуражка нарисовалась. Пришлось уступить и отпустить залётную с миром. И выйгршем.

— К кому, фартовая, приехала? Аль по делу? — спросил погрустневший парень у Евдокии.

— У нас по плану четыреста тонн! — брякнула она в ответ, опять же — словами из песни, что муженёк когда-то под гармонь напевал.

Для пущей важности произнесла, чтобы туману напустить.

Были в той Фаддеевой рыбацкой песне и такие слова: “Моторы вздрогнули, причал поплыл, стоим мы, головы опустив, прощай, любимая, прощай, притон: у нас по плану четыреста тонн...”

Пригодилась песня, знать, не случайно вспомнилась в отчаянную минуту. Покойный муж, что ли, знак подал?

И пошла Евдокия гордо прочь. У самой поджилки от страха тряслись. Все ожидала: догонит блатняк, финкой пырнёт...

Не стал догонять. Видать, сбила незнакомка с панталыку: по “фене” знает и темнит не случайно, возможно, дружки-ухари её встречают, издали следят...

Летела Евдокия с вокзала, ног под собою не чуя.

Шальные деньги титьки жгли.

Второй раз в жизни прочувствовала опасную сладость обладания крупной денежкой. Впервые задохнулась при виде плитки новеньких сторублевок, когда получала расчёт в бухгалтерии рыбокомбината на Шикотане. Тогда Фаддей только снисходительно ухмыльнулся: говорил, что после каждой удачной путини он впятеро и вдесятеро больше в руках держал. Видать, по этому и тратил заработанное без оглядки, ибо большие деньги карман ему жгли, на блуд и пьянство толкали. О том, каким солёным потом они добывались, не вспоминал...

А тут Евдокия сдуру три сотенные, как с куста, сорвала — и устыдилась, совестливая, перетрусила, корить себя стала...

Неправедные деньги — хромая судьба.

Ой, лихо!

Побыстрее бы от них избавиться!

Не могла предполагать женщина в ту минуту, как ей эти денежки пригодятся и какую неожиданную службу сослужат.

И ещё раз удачу свою решила испытать, уже на окраинной улице Вологды, куда добралась, отыскивая указанный в бумажке адрес: Дворовая, 43.

Деревянные двухэтажные дома, чередуясь с одноэтажными рублеными бараками на этой улице, стояли за чёрными от времени щербатыми заборами с калитками, а вдоль заборов, обрамляя широкую глинистую колею, — деревянные тротуары из старого бруса.

“Скрипнет доска под левой ногой — быть удаче”, — загадала Евдокия, направляясь к приоткрытой калитке, за которой стоял покосившийся домиш-

ко с нужными ей цифрами, выведенными на досках притвора краской когда-то голубого цвета.

Доска крякнула испуганной уткой...

Такие, мощные деревом тротуары, сплошь и рядом покрывали немногочисленные улицы поселка Малокурильское на Шикотане — без них весной и осенью спасу от грязи не было.

Небольшой огороженный двор показался чем-то знакомым: покосившиеся ступеньки крыльца, рассыпанная поленица берёзовых дров, топор с топорщиком на честном слове брошен рядом с худым корытом... Давненько не тревожили их хозяйские руки...

Резные наличники на окнах потрескались и покосились. Стёкла давно не мыты.

Выглядел быт вологодских жильцов похожим на ее вдовый двор в Похмелевке после смерти мужа — то же сиротливое запустение.

Вот и все кружева. Вологодские.

Гостье почудилось: сейчас появится в двери согбенный Фаддей и осторожно присядет на порожек, теребя ремешок охрипшей гармошки. Только откуда ему тут взяться!

А где ж Татьяна Фатеева, по отчеству Семёновна? Ведь аккурат этот адрес в горсправке выдали.

— Есть кто в хате? — громко позвала-спросила Евдокия.

Дверь скрипнула, приоткрылась — и в образовавшейся щели показались... два синих уголька. Два цветка-василька под густой челкой на детском личике девочки лет пяти, возникшей на пороге. Не могла Евдокия ошибиться: Фаддеевы глаза! Как пить дать — евонные... Редкое, присущее покойному мужу сочетание — черные волосы и голубые глаза. Значит... Неужели дочка?

— Взрослые есть в хате? — волнуясь, спросила Евдокия.

— Баушка. Лежит. Слабая дак, — просто и серьёзно ответила малышка, не смущаясь незнакомки. — А ты моя мамка будешь?

Ох, лучше бы не задавала сиротка ей такой вопрос, лучше бы сердце женское не бередила!

Не дал Евдокии Боженька деток, обделил...

— Кого там нелегкая принесла? — раздался из комнаты старческий голос. — Проходи сюда. Чего надобно?

— Фатеева Татьяна Семёновна здесь проживает? Адрес горсправка дала. Можно её видеть?

На топчане в углу комнаты лежала пожилая женщина, укрытая стеганным ватным одеялом.

Конец лета, теплынь, но большую, по-видимому, знобило.

— К Таньке? — переспросила, приподнявшись, старуха. — А кто ж ее, лярву, ведает, где она валандается... Второй год носа не кажет. По морям ездит все, по заморьям... Только цидулки шлёт, карточки разные... Шалава. Дитё забыло, чем мамка пахнет...

Из всего наобум и громким голосом сказанного гостье стало понятно: Татьяна Фатеева — дочь родной, рано умершей младшей сестры старухи. Племянница уже давно плавает на судах торгового флота не то буфетчицей, не то официанткой, а дочку, отца которой никто здесь не видел, оставила на воспитание одинокой престарелой тётке, так как детей на кораблях “не держут”. Малая Танька девка послушная, хорошая, однако бабке с ней тяжело, потому что сама с батогом ходит, и пора на погост её, немощную, тащить... Одна надежда — на сына, что в Северодвинске живёт, может, заберёт племяшку, но и у самого двое... А ноне хозяйку через все уши продудло, и с ней не поговоришь, разве только в самое ухо шептать...

Пока шло объяснение, девочка не отпускала руку Евдокии, стараясь лишний раз заглянуть ей в лицо и получше рассмотреть: неужели все-таки чужая тётя?

Это ж надо было так дитё от родной матери отвадить, засиротить! Распута!

Наконец, дошла очередь и до заочного знакомства с личностью Татьяны

Фатеевой — старуха выложила на стол веер фотокарточек и открыток, сложенных до того в шуфлядке.

Красивая белокурая женщина со светлыми глазами, похожая на Марлен Дитрих, с немного скуластым славянским лицом, настоящая вологодская красавица, глядела на Евдокию с чёрно-белых, изредка цветных фотографий, пришедших по почте на пыльную вологодскую окраину из различных портов — из Владивостока, Одессы, Сингапура, Нагасаки...

Значит, вот она какая — Фаддеева зазноба... Недурна, стерва. По такой всякий станет сохнуть, туды её растуды!

На снимках буфетчица почти всегда была снята с кем-то рядом. Это были люди в форменных морских фуражках, в кителях, в светлых рубашках с короткими рукавами, в легких прозрачных шляпах — на фоне портовых рейдов, больших судов, красивых ландшафтов. Ни на одной не было Фаддея. Видать, порознь их кораблям в море и в жизни довелось плыть.

Евдокия на миг представила своего мужа рядом с этой красивой чужой женщиной — и засомневалась: нет, не пара. Видать, ради каприза приблизила телом невзрачного внешне механика, осчастливила мимолётной любовью — и оттолкнула, пренебрегла. Оттого и маялся безответным чувством всю оставшуюся жизнь... Про дочку наверняка не призналась. А то бы он ей не дал покоя, качал бы права до изнеможения. Фаддей такой!

Еще раз покойника в мыслях пожалела. Подумала о сопернице: ишь, фифа, пренебрегла... Не смогла, не успела оценить. А может — не захотела. Другой орёл был на примете и в мечтах.

Евдокия не слишком удивилась, увидав на одной из фотографий очертания большого рыболовного траулера с надписью на борту “Капитан Сомов”. Вот, значит, где подружился её милёнок с красавицей-буфетчицей, вот на какое судно стремился потом понасть, надеясь застать там свою зазнобу. А её-то и след давно простыл... В торговый флот перешла.

*“Усё шукала ды шукала маладога адмірала...”*

Чаще фотографий попадались цветные открытки с видами стран и городов и печатными надписями на незнакомых языках.

С торопливыми скупыми строками приветов на обороте.

Чужая, неизвестная жизнь глядела на Евдокию будто с насмешкой.

А рядом сопела другая — синеглазая, неужоженная, Фаддеева... Значит — родная.

Пока шёл разговор, пока прижималась худеньким боком Танюшка — без всякого сомнения, покойного мужа кровинка, — а полуденное солнышко перемещалось в другое замусоленное окошко, будто пытаясь рассмотреть гостью получше, Евдокия для себя всё уже решила. Без дитяти она отсюда не уедет. Найдёт в себе силы и сердце, чтобы ответить, кто её настоящая мамка! Не больно девочка родной матери нужна, раз столько времени только карточками отбояривается.

С немощной тёткой её Евдокия договорится. Упросит, уговорит девочку отдать. Сразу видать — в обузу ей малышка. А лучше — схитрить. Вон как на вокзале у неё ловко получилось!

Три дня гостила Евдокия у Фатеевых. Прибралась в доме, во дворе порядок навела. За старухой без всякой брезгливости ухаживала. Та уж совсем слаба оказалась. Сделает шагок по комнате, во двор сгуляет — и на боковую. Немощь. Хворь.

Куда уж ей за ребенком присматривать, воспитывать! А подрастёт? А гули начнутся? Кто за былиночку ответит? Кто защитит?

Чуял, чуял сердцем Фаддей на пороге могилы вину за любовный грех...

Но раз уж ей самой детей Боженька не дал, то хоть мужа покойного дочку до ума довести, на ноги поставить.

Аминь. И Господь ей судья.

Как задумала, так и вышло. Старуха сразу Евдокии поверила — будто она давнишняя знакомка Фатеевой (плавали вместе на траулерах) и будто заехала в Вологду, чтоб, как обещала, дочку и тётку подружки при случае навестить. И, мол, готова забрать девчунку на время, пока мать свою личную жизнь устроит, может, тогда и объявится.

Согласие было получено. А чтоб договор как следует закрепить, чтоб не на словах осталось, Евдокия смекнула получить у тётки расписку: дескать, не возражает та, чтобы уехала дочка племянницы на постоянное жительство в Могилёвскую область БССР, деревню Похмелевка Климовичского района, под попечительство Козловой Евдокии Илларионовны, действительного члена колхозной артели имени Третьего Интернационала.

Старуха хотела ещё дописать про стерву-племянницу и про обещанные денежные переводы, которых она не получала с осени, но Евдокия отговорила. Дескать, надо писать поручительство по форме, чтобы милиция не придралась.

На том и сошлись. Старуха вздохнула с облегчением, хотя и всплакнула.

Свой домашний адрес Евдокия записала на бумажку и за иконой в комнате при бабке спрятала. На всякий случай.

А когда, прощаясь, ловкачка выложила три сотни рублей, которые выиграла у “напёрсточника”, да ещё остальное всё выгрела, оставив себе лишь на обратную дорогу, старушка совсем рассиропилась. Хватит ей и до пенсии, и до почтового перевода от племянницы, если пришлёт, и к сыну съездить, когда сама поправится.

Что же Танюшка, Фаддеева дочурка?

Ходила она в последние дни ни жива ни мертва, вела себя тише воды, ниже травы.

Боялась, что вдруг ласковая тётя, так похожая на мамку, передумает и не возьмёт капризную девочку с собой...

Когда вновь обрётённая дочь вместе с матерью (обе по фамилии Козловы, они же — Бонч-Осмоловские) проделывали обратный путь от Вологды до деревни Похмелевка, Танюшка не слезила с рук и колен своей новой мамы, а когда шли пешком, цепко хваталась за её подол. Как когда-то Дуняша за брезентовый отцовский ремень...

На разъезде в Осмоловичах дружную парочку первым встретил горбатый Муравчик. Он сидел на откосе и тербил в пальцах цветки ромашки. За что Евдокия горбуна всегда уважала — никогда не отрывал лепестки, а только пересчитывал. Дурачок, но понимал: живое губить — грех.

Правильное все-таки имя ему родители дали — Володомир.

Вдоль стёжки — рожь с васильками. Женщина стебельков с колосьями нарвала и веночек связала. Надела на детскую головку.

— Житная Баба! — обрадовался Володомир, увязавшийся с ними.

Придумает же такое...

### Дочка — ясная ночка

“Даст Бог детей — и в детях толк. А нашему роду — ждоть переводу. Одно бабское семя колосится”, — говаривала ещё при жизни Анастасия Борисовна, Дуняшкина матушка, царство ей небесное. Четверых детей произвела она в муках на свет, пока рожать могла и мужа Иллариона Киреевича на войне не убили. Выжила из всех четверых одна Дуняша, но её саму Бог детьми не осчастливил. С появлением в доме синеглазой Татьяны, вологодской дочери шального Фаддея, земля ему пухом, жизнь Евдокии превратилась, казалось бы, в сплошной весенний праздник. Вдовья хата изнутри осветилась, и все недостающее прежде само собою в ней сложилось и дополнилось. Хозяйка будто заново родилась: для кого жарить-парить, для кого куделю прясть, платица с косынками кроить-вышивать, кому сказки сказывать, для кого пашенку пахать — обрело резон. В одно мгновение произошло счастливое перевоплощение: из молодой вдовы Евдокия превратилась в заботливую мать, рачительную хозяйку, мудрую бабушку. И даже козу Манюню не пришлось под конюта сцеживать или молоко соседке отдавать.

“Пей, тихоня, козье молочко, может, бодаться станешь”, — в шутку приговаривала новоявленная мамаша, пичкая худенького ребенка жирным молоком, при этом искренне считая, что козье — не хуже, а то и лучше зна-

менитого вологодского, которое Танька в своей косолопой Вологде, скорее всего, не часто едала. При таких-то родителях.

Щёки и бока девочки вскоре округлились.

Танька, северный цветок, со временем расцвела неброской, без крикливой яркости, красотой. Отличалась характером ровным, спокойным. Помощница матери — безотказная. Одна беда: чересчур девчонка молчаливая. Евдокия даже пугалась не по-детски серьёзной задумчивости малышки: перекатывает потаённые мысли-камешки в русой головке, а что там складывается, какие хоромы и замки — никому не ведомо...

“Никак, в тихом омуте чертовка затаилась”, — рассуждала приёмная мать, с некоторым опасением ожидавшая всплеска наследственных черт шалопутного Фаддея и его отчаянной полюбовницы, Татьяниной кровной матери.

Не сразу поняла белоруска, что уродилась девочка в белую северную ночь — тиха, светла, прозрачна. А хоть раз окупнётся в её чарующую млечность — душой и помыслами очистишься. Так и Танюша: белизною светится. Всяк к ней тянется: каждый норовит льняные русые волосы погладить, за руку подержать.

Володомир, дурачок, так вовсе проходу не давал. Принесёт из лугов букет цветов и пристает к соседке. Давай, мол, Дуня, Житную Бабу наряжать!

Далась ему эта Баба, чучелу гороховому... Но чтобы обидеть девочку, пальцем тронуть — ни-ни. Словно на одуванчик дул — волосёнки на голове взьерошивал...

Первые годы сильно Евдокия опасалась приезда незваных вологодских гостей. Ведь адресок-то свой как-никак оставила! Всё ей мерещилось: однажды вернётся она с колхозного поля, а Танюши и след простыл — явится и заберёт дочку шальная родительница...

Бывало, подолгу в окошко высматривала, а то и на росстань за деревню выходила: не едут ли за дочкой вояжеры?

И дождалась. На семнадцатом году Таниной жизни явились — не запылились родственнички, мать их еги... На шикарной легковой машине. Семей: глава семейства — толстопузый коротышка; такие же два мальчика-бутуза кровь с молоком и Фатева, Танина мама. Пузан — не иначе как “адмирал”, которого буфетчица всё же добыла.

Евдокия сразу Фатеву признала, запомнив белокурую бестию по фотографии, — подсматривала за приезжими через щелку в сарае, куда спряталась от непрошенных визитёров.

Сидела Фатева на заднем сиденье. На носу — чёрные солнцезащитные очки, чтоб глаза свои бесстыжие не показывать. А из машины так и не вышла.

Расспрашивал и визнавал про Таньку муж вологодской красавицы, спохватившейся о дочери, когда та уже выросла. До сих пор — ни весточки из Вологды, ни гугу. Не искали вовсе. Да о своей ли дочери, явившись, хлопотали?! Говорили, мол, дальнюю родственницу давным-давно отдали некой Козловой на воспитание, поэтому интересуются судьбой девчонки, сделал крюк проездом на курорт в Прибалтику... Замусоленную бумажку с адресом Евдокии предъявили.

К счастью, Таню гости дома не застали. В то время она в Минске на трамвайных курсах уже училась, на побывку приезжала редко.

Принимала приезжих Эмилька, соседка. Эта кому угодно мозги затуманит, та еще темнильщица... Евдокия ей загодя наказала: начнут чужие про Таньку спрашивать — молчок! Мол, знать не знаю, ведать не ведаю...

Эмилия, как и учили, завольнила чужакам невесть что — уши у них завяли. Про погоду, про урожай, про то да сё. Потом соседка плевалась от досады и от коньяка, каким толстопузый, вызывая на откровенность, пытался женщину и подошедших деревенских мужиков ублажить.

Дядька Илья — кузнец и старик Матохин попали под раздачу и целую бутылку выжлуктили на дармовщину. Носы потом воротили — клопами коньяк вонял... Им ли, пьянчугам, привередничать! Но тоже лишнего не сболтули. Мол, уехала девушка. В большом городе живёт и учится.

Единственный из всех — горбатый Муравчик — чуть было обедню не испортил, появившись на глаза гостям к шапочному разбору. Дурачок сразу догадался, кто есть кто, и начал приставать к госте с дурацкой просьбой: выйти из салона машины и поиграть с Володомиром в игру.

— Во что играть-то будем? В карты? — спросила, по-вологодски “окая”, раздосадованная женщина. Сидеть безвылазно в машине, пока шли переговоры, ей, по всему видать, надоело.

— У напёрстки!

— На деньги? Деньги, значит, любишь? Возьми вот рупь, купи себе что-нибудь, — протянула Фатеева горбуну рублевку.

— Не! — уперся Муравчик. — У три напёрстки са мной згуляй. На дзетак!

Фатеева побледнела, забила в угол салона. Муж гостыи, увидев испуг жены, силой отеснил приставалу от машины, так и не поняв, о какой игре и каких детках бормотал деревенский дурачок. Она тоже ничего не сообразила, только до смерти испугалась. Володомир своим убогим умишком выбрал соседские пересуды о том, как Евдокия в Вологду ездила, как девчонку-сиротку в “три напёрстка” у цыган на вокзале выиграла...

Вот и выдал “на-гора”.

В деревне что попадай болтали по поводу удочерения Евдокией Козловой чужой девочки: как чужой роток не накинешь платок. Однако настоящую историю знали немногие.

Убыли гости ни с чем, быстро интерес потеряв и, как поняла Евдокия, — с облегчением.

А приёмная мать долго ещё на образа в красном углу крестилась и прощение у Всевышнего за обман вымаливала.

“Коль отдала девочку без слёз, обходились столько лет без печали, то и впредь без дочери проживут! — убеждала себя женщина. — Она давно для них ломоть отрезанный...”

Была бы Евдокия на месте Фатеевой, хату недругам спалила бы, из-под земли бы кровинушку достала... Значит, не слишком нуждалась родная мать в Танюшке, больше для собственного успокоения приехала... А может быть, до сих пор перед мужем таилась, что дочку на стороне имеет? Поди разбери... Кто на свеще самы гаротны? Жанчына...

Зато уж Танюшку, ноченьку свою белую северную, Евдокия так ласкала, так убажала по её приезде, что та даже расстроилась от переизбытка материнского внимания:

— Нездоровится вам, мама? Уж не прощаться ли со мною надумали?

— Что ты, голубушка, что ты... Это я так. Соскучилась... Ещё на свадьбе твоей погуляем!

Белокурая молчунья росла как на дрожжах. Восьмилетку в Осмоловичах закончила, у матери под боком. А после школы, по материнскому совету, подалась в Климовичи: уж больно хотелось матери видеть дочку проводницей пассажирских вагонов... Не с тяжкой же на поле и не колхозным быкам хвосты крутить...

Однако стать проводницей Танюше не удалось. Туда, как выяснилось, большой конкуре образовался. В управлении железнодорожного узла посоветовали отправляться в Минск, где происходил большой набор трамвайных вагоновожатых и путевых специалистов. Дали девочке направление как внучке бывшего стрелочника, погибшего на войне. А главное — общежитие трамвайный парк иногородним выделял. Не будет девка по чужим углам мыкаться.

Что такое общежитие, Евдокия хорошо знала по Шикотану. Поэтому сама, после того как Татьяну на курсы в Минск вызвали, съездила поглядеть, как она там устроилась.

Минск город большой, много после войны построили. Посидела мать в тесной комнатке — с четырьмя солдатскими кроватями и девичьими ковриками на стенах. Жить можно. Главное — чтобы дружно. Соседки по комнате ненамного старше Татьяны. Такие же наивные и глупые. Деревенщина.

Учёба шла, по словам дочери, хорошо. А где большой город — там и соблазны большие, где людей уйма — там и знакомства. Как без них?

“Лишь бы у Танюшки всё хорошо сложилось, — рассуждала Евдокия, возвратившись в деревню. — И что девочке терять? Школу закончила. Паспорт на руках. Профессия, считай, в кармане. Все пути-дорожки в жизни открыты. Только рот варежкой не разевай”.

О наступившем одиночестве Евдокия не думала. Заботилась о другом: как кабанчика вырастить, чтоб дочке лишний кусок приготовить и в город передать, как огород вспахать, в колхоз на работу поспеть.

— Прокачу тебя, мама, на трамвае бесплатно, когда учёбу закончу! Хотя день-деньской ездить по Минску со мной будешь! — говорила Татьяна.

И прокатила, как и обещала. С ветерком.

### Катька — Три Напёрстка

Уродилась девочка Катя всем Катькам — Екатерина, всем Екатеринам — царица. Екатеринистей не сыскать. Не ребёнок, а куколка. Ангел.

Разве только грудью не кормила новорожденную бабушка Евдокия, не зная поначалу, радоваться или печалиться семейному пополнению.

Дочка любимая, как и обещала, матушку прокатила с ветерком, явившись однажды с ношей в подоле. “Спасайте, мама, — меня с ребёнком из общежития выгоняют!”

Куда уж тут денешься.

Про подол для красного словца сказано, но Танька родила, будучи не замужем, и где искать того молодца, который ее обрюхатил, никому не говорила. Даже матери не признавалась.

“Зноў у напёрсткі дзіцёнка выйгралі”, — трепал языком по деревне вездесущий Муравчик, у которого с возрастом полностью шарики за ролики захали. Как будто до сих пор горбун не понимал, откуда берутся дети...

Но прозвище к девочке прилипло, не соскresti — “Катька — Три Напёрстка”.

Она только в мать Татьяну белым телом и лицом пошла, а характером и повадками — вылитый Фаддей, лоботряс и отчаюга. Аукнулась вся кровь!

Неизвестный Катькин отец, о котором поначалу говорили: “Поматросил да и бросил”, — вскорости объявился и даже замуж Татьяну якобы звал, но та уперлась, как бабкина коза: ни в какую расписываться с ним не желала. Работал тот парень в одном с Татьяной трамвайном депо слесарем, был женат, однако с женою не жил.

“На чужом несчастье своего счастья не построишь”, — решила обиженная трамвайщица и отвезла ребенка в деревню к своей приёмной матери. Как вынашивала дочь, как рожала, никому не рассказывала. Говорила только, что в родильном доме появилась на свет Екатерина, при врачах-акушерах, так что всё со здоровьем у неё в порядке, о чём имеется медицинская справка.

Записали девочку на фамилию Осмоловская. По бабушке. Отчество мать дала тоже не отцовское — Илларионовна, в честь погибшего прадеда. Роднее родни не сыскать.

Это обстоятельство — полное пренебрежение кровным отцом — Катькин родитель сильно переживал, Татьяне проходу не давал. Со своей женой он развелся, запил горькую, и из депо его выгнали за пьянку. Татьяна его со временем простила, к себе приняла. Так они и зажили вдвоём, не расписываясь, получив крохотную комнатку в Минске. А девочка осталась на попечении бабки, которая нянчить внучку обузой не посчитала, всемерно гордилась малышкой и всякому встречному и поперечному ее красотой и способностями бахвалиться не уставала. Дескать, Катька у нее растёт такая-этакая, хоть в понку её без усталы целуй, и впрямь она сахарная. Что бабушка с удовольствием и делала, при этом повторяла: “Малые детки — малые бедки, а большие сами себе дадут рады!” “Дать рады” означало на местном наречии “справиться”.



Вот такие они, Осмоловские, особенно если с приставкой “Бонч”!

Катька, оторванная от материнской груди, обходилась молоком козным, по мамкиной титке не скучала, а выпроставшись из пелёнок, сразу начала ползать, причём задом наперёд. До годика встала на ножки, передвигалась не иначе как вприпрыжку, курам во дворе проходу не давала, а росла так быстро, что платья для неё бабушка не успевала перелицовывать. К матери не просилась, хотя, даже отвыкнув, её не чуралась и искренне считала, что у нее две мамы — та, что рядом, баба Дуня, и та, которая живет в большом городе и изредка навещает, нещадно пичкая девочку приторными конфетами “подушечки” в сахаре. А их, конфеты, Катька на дух не переносила, предпочитая бульбу, сало, квашеную капусту и тёртый хрен, заправленный соком красной свёклы.

Начальную и восьмилетнюю школу в Осмоловичах девочка закончила играючи.

“Расти большой, да не будь лапшой; расти верстой, да не будь простой”, — поучала внучку бабушка вроде бы понарошку, но оглянуться не успела, как стала она совсем взрослой и в Минск к матери на постоянное жительство намылилась.

Татьяна к этому времени со своим слесарем окончательно сошлась (в который-то раз!), обещанное начальством расширение жилплощади ожидала, дочку обещала прописать на новой квартире, которую-таки получила — из двух комнат в “хрущёвке”. По сравнению с трамвайным общежитием это были хоромы. Но Катерина у матери не задержалась, поступив на учёбу в торговое училище, обеспечивавшее своих учащихся кое-каким жильём. Совместно с матерью жизнь не сложилось, ибо муж-слесарь оказался ханьгой ещё тем — регулярно попивал и Татьяну тайком от соседей поколачивал. Мать и сама вдогонку за сожителем пристрастилась к вину, из вагоновожатых ушла и работала дворничихой в том же дворе, где и жила. “Пироги с котятами” получились, как говаривал однорукый Матохин, жирные, и даже чересчур.

Катерина, выучившись на продавщицу и проторчав пару лет за прилавком “Промтоваров” на окраине Минска, плюнула с высокой горки на все эти товары, а главным образом — на заведующего, регулярно “рисовавшего” продавщицам недостачу и настойчиво предлагавшего покрывать ее “натурой”. Кстати, уволилась она из госторговли после доверительного разговора с бабулей, которую не забывала навещать и с мнением которой очень считалась.

Она ушла работать к кооператорам на Комаровский рынок, благо частная торговля к тому времени набирала размах.

В стране в это время происходило нечто под названием *перестройка*, а вскоре неожиданно для всего народа развалился *великий и могучий Советский Союз*.

Внешне жизнь в Похмелевке оставалась прежней. Колхоз, когда-то переименованный из “имени Третьего Интернационала” в “имени Молотова”, а затем — в колхоз XXII партсъезда, — стал называться СПК, сельскохозяйственно-производственным кооперативом; похмелевскую полеводческую бригаду упразднили, ибо деревня обезлюдела; за хлебом теперь ездили в район, так как прежние автолавки, привозившие съестное, напрочь исчезли. Неизменными остались росстань за деревней с перекошенным крестом да перепутье трёх дорог, пустынными и скучными. Когда-никогда городская машина пропылит по большаку — знать, вспомнили чьи-то родственники одиноких похмелевских стариков, коротавших век в захолустье.

Теперь Евдокия частенько от нечего делать сидела у окошка и думала, что вся ее жизнь пролетела как будто и долгим, а в сущности, скоротечным днем — в хлопотах и беготне. Оглянуться не успела, как солнце за горушку закатилось и тягостный вечер подкрался...

“Шила милому кисет, вышла — рукавица, меня милый похвалил, что я мастера...”

Кричал под вечер чибис в полях за огородами: “Чьи вы? Чьи вы?”

“Не каноучь, каня, не жалоби нас... Без тебя тошно...” — ворчала в ответ Евдокия.

Думалось ей: сколько плетень меж соседями ни переставляй — всё одно двор топтать суждено общим...

Думалось: чем политикам копыя ломать, лучше бы о землеце подумали, чтоб пашню на овражье не распустить... А коль житу есть где родить, то и сами живы будем...

Порой задрёмывала среди дня — легко скользили набегавшие сны.

Речка за околицей грезилась. Деревня. Росстань с крестом. Хлебное поле с васильками. И лица, лица — всех, кого в жизни встречала, любила и помнила.

Реже снились далекие места: Москва, Вологда, российские просторы, остров Шикотан. Всё такое далёкое, как в тумане...

Вдруг решила: вышить на небольшом полотне родную деревню — так, чтобы на многие годы сохранилась память о ней.

Быть будущей картине большой и просторной.

Мы предполагаем, а Господь располагает. Не случайно соседская кошка в тот день, явившись в чужой двор, старательно намывалась: терла и терла лапой за ушком и языком вылизывалась. Верный признак — к гостям.

Так и вышло. К вечеру Катька прикатила с поклажей под мышкой:

— Работу тебе, бабулька, привезла... Доставай “Зингер”!

Евдокия для виду поворчала, а сама рада-радешенька редкому появлению дорогой гостии и её пустяшному заданию. Для любимой внучки любая ноша в охотку. Своя может и подождать, не к спеху. Да и делов только взяться — пришить бирки к коротеньким цветным маечкам, привезенным Катькой из последней поездки в Турцию.

“Челночница” она, внучка. Припёрла заграничного барахла на продажу воз и малую тележку, как только в чемодан упаковала! Маечки называются “топы”, куцые, до пупа взрослой девушке не достанут, но, по словам Катьки, модницы берут их нарасхват. Однако товар без фирменных нашивок, так как — контрабанда, чтоб подешевле.

Пока старушка швейную машинку настраивала, пробные стежки на лоскуте строчила, примераясь, внучка без умолку болтала.

О том, как в Стамбул ездила, какие в Турции сумасшедшие рынки и каких там товаров видано-немеряно; как российским “челнокам” бракованные и недоделанные вещи хитрые торгаши-турки под шумок оптом всучивают. А ярлыков и фирменных значков самых известнейших мировых фирм на турецком базаре каких угодно можно за копейки купить на любой вкус. Вот и привезла на выбор: “Версаче”, “Армани”, “Гуччи”, “Вранглер”, “Леви”...

“Что же с людьми происходит? — возмущалась про себя Евдокия. — Прясть, ткать, рубашки с платьями шить разучились. Когда это было видано, чтобы за маечками копеечными в турецкие земли ездили, ведь не шелка же с бархатами, а трикотаж дешёвенький! А крой-то, крой! Проще и не бывает. Одна заманка — бирка с иностранными словами и буква “V” спереди. На кой ляд она?”

Катька, хитрая бестия, решила к бабушке подластиться, чтобы трудовой пыл не охлаждать:

— Хочешь, бабуль, я тебе электрическую машинку подарю со специальной программой? Наберешь код — она сама любой рисунок вышьет в минуту. Хоть вензель, хоть цветок. Не понадобится часами над шитьем корпеть.

— Как это так? — не поверила Евдокия. — А руки на что, голова? — Мастерница давно уже знала про разные машинные приставки — для обметки петель, пришивания пуговиц. Имелись и к ее “Зингеру” такие, да потерялись. И разве сможет железо живые пальцы заменить?

Старушка помрачнела ещё больше. А внучка уже и не рада затейному разговору. Не в строку лыко получилось.

Строчка короткая, туда-сюда-обратно — думка женская летит дальше.

Внучка собирается в следующий раз за дублёнками в Турцию ехать. Дожились! И откуда? С жаркого юга!

— Катя! — незлобно задирает бабушка внучку. — Ты уж на мою долю не забудь турецкий тулупчик прихватить! Мой шупун совсем износился. А?

Екатерина, уловив подвох, предпочла на подковырку не реагировать, пропустила мнимую просьбу мимо ушей. *Шас!* Станет бабка импортную дублёнку носить! Ох, уж эта бабуля! Никогда за словом в карман не полезет и мнения своего при себе не придержит. Бульбашка упёртая! Лучше ей не перечить...

Смотрит внучка на бабушку, склонённую над шитьём, за руками старческими наблюдает. Ни суеты в её движениях, ни поспешности, лишь надёжность и предчувствие маленького чуда. Того самого, что цветёт на рушниках и домашних вышивках, глаз тешит и душу радует. Даже совестно за мелочную работу, которую ей подсунула из-за вечной своей спешки и дорожных таможенных заморочек. Стоило ли ради всего этого старушку напрягать?

Евдокия, напротив, себя за вьедливость корит. Кто, если не она, кровинушке подсобит? На кого деваху может наверняка положиться, коль родные мать с отцом непутёвые, а так называемый напарник и женишок — фрукт ещё тот!

Ближе к вечеру глаза у Евдокии стали слезиться. Наверное, соринка попала. Или свет от плафона слишком яркий?

Нитка шелковая — чёрная, тонкая...

Стежок мелкий, неразборчивый...

Не от них ли виды мерещатся? Чудится: то ли трамвай с её Татьяной за кондуктора по чужому городу круги нарезает, не зная, куда приткнуться, то ли поезд, где Катя сидит, под гору летит, и вагоны вот-вот без удержу с откоса покатаются...

Решили отложить шитьё на завтра. И так целый ворох уже наталахали.

Улеглись спать после трудов праведных (работала в основном бабушка, Катя — на подхвате) в большой комнате, считай, рядышком — старая и молодая. Молодая — любовником не балованная, мужем не битая, детишками не заморенная — всё ещё впереди. Жить ей да жить.

Утро вечера мудренее.

Чуть свет — подле хаты легковушка фырчит, сигналист. Это Катякин ухажёр прикатил, соскучился.

Оказывается, новая поездка намечается, и Катке в дорогу собираться надо. Не дождался приезда напарницы, деловой, самолично за нею из города прибыл. Объявил: в Москву за товаром поедут.

— На Черкизовский? — уточнила внучка.

Туда — выяснилось из ответа.

Побросали барахло в машину и уехали, даже не перекусив на дорожку.

Словно ветра шквал пролетел над деревенским двором и умчался за околицу, затихнув за кромкой дальнего поля.

Старушка опять осталась в одиночестве.

Пол мести после вчерашнего ударничества и поспешных сборов сразу не стала — дурная примета.

События выстроились без понуканий в произвольную очередность, как будто бы ничего особенного не произошло: и внучка не гостила, и неприятные разговоры не велись, а всё по-старому, с мыслями наедине.

Но беспокойство Евдокию не покидало.

Сердце ранимое, бабье! Разве можно ему приказать: не боли, мол, не трепыхайся понапрасну! Болит — значит, живёт, чувствует...

Да что-то незнакомо покальвать сердечко начало...

День прошёл, другой закатился, поторапливая следующий. Так и полетели они после внучкиного отъезда — мелкими птишками.

Одна закавыка — не ладилась у Евдокии работа, в том числе — заветная.

Примется за вышивку, а пальцы млеют, иголку не держат. Тогда, намавившись попусту, бабушка подолгу лежит с открытыми глазами на топчане в потёмках.

Смежила усталость отяжелевшие веки, и приснилась Евдокии сказка.

...Лежит она на росстани подле подорожного креста на том самом месте, где захоронена странница Агафья. Слышит: конский топот внизу. Скачет

под землей конница несметная и такие слова кто-то говорит: лежит, мол, братцы, раба Божья к земле брюхом, к нашему следу ухом и горюет, как ей прошедшую жизнь понять и в ней окончательно разобраться, так ли жила-тужила, правильно ли себя меж людей ставила? Хочет от нас науке учиться про людей и землю понять. А какие мы учителя? Такой же народ тёмный, только подземельный. Одна судьба — по чужой указке жить, лямку тянуть, кому сколько отмерено — коротать, смерть, благословившись, принять, так ничего и не понять. Как и мы, явилась она на свет неразумной и в темноту ушла. Чего ей еще неймётся?

Хочется Евдокии последнее “прости” дочери с внучкой передать, что-то очень важное сказать, но старший из всадников, который за главного и лицом похожий одновременно на бригадира Матохина, на товарища Сталина и курильского дедушку Чана, жестами ей препятствует. Мол, пустое задумала, глупая. У каждого своя тропка, подсказками только больше запутаешь. Пока сами шишки не набьют, ничего в этой жизни не уразумеют... Всё само по себе образуется.

“Хоть весточку робкую можно подать, знак, памятку ненавязчивую?” — взмолилась женщина.

“Знак — это можно... А какой — знаешь?..”

“Знаю!” — обрадовалась горемычная.

Наверное, впервые за последнее время Евдокия заснула после этих слов покойно.

А про знак не соврала: надо картину задуманную дошить, людям подать.

Она обо всём расскажет.

### “Вышел месяц из тумана...”

*Як вийду на ганак  
Ды крикну дадому:  
“Вары, мама, вьчэру  
І на маю долю”. —  
“Варыла, варыла —  
Ні мала, ні трошкі.  
Няма табе, дочка,  
Ні міскі, ні ложкі.  
Міску размянялі,  
А ложку згубілі.  
Ідзі туды, доня,  
Дзе цябе любілі”.*

Сидилась Катька восстановить прошедшие события по порядку, напрягла бедную свою головушку, но не получалось. Как по дороге от станции шла, расстань с крестом миновала, торопясь за неожиданно проворным Муравчиком, как с провожатым просталась возле забора родной хаты, как знакомую калитку по привычке сапожком распахивала, — помнит в подробностях, а что дальше произошло — напрочь из девичьей памяти вышибло. Разве клубок цветных ниток, который, зайдя в хату, с полу подобрала, в глазах задержался, — и с этого момента скользит тонкая нить в руках без остановки, струится меж пальцев, не заканчиваясь, без следа исчезает...

И еще считалка детская неизвестно откуда вынырнула и застряла в мозгу: “Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана: буду резать, буду бить...”

И всякий раз ей водить выпадает...

Ой, лихо!

Последний свой долг перед бабушкой Катерина исполнила чин по чину. Откуда только силы и сноровка взялись! Как будто тем и занималась городская красавица — белые ручки, что на досуге престарелых бабушек в последний земной путь снаряжала: в смертное одевала и обо всех похо-

ронных делах хлопотала. Хотелось ей повыть по-бабьи над усопшей, да не получалось.

Не впала внучка в панику, застав Евдокию уже охладевшей, не стала убиваться и на людях. Только глядела во все глаза, стараясь подольше черты бабушкиного лица запомнить: мирно, покойно лежала раба Божья на топчане, словно прилегла отдохнуть и ненароком уснула.

Катерина без крику и плача соседей созвала, чтобы помогли в смерти удостовериться и все необходимое для похорон соблести.

Поминальную ночь у ложа умершей высидела, глаз не сомкнув, хоть все соседки поспать спроваживали.

Сама же сбегала следующим утром на станцию — матери в город печальную весть сообщить, однако не дозвонилась.

И даже когда — на отведенные, по правилам, третьи сутки — везли на колхозном грузовике свежий гроб, направляясь по тракту на Брывицу; когда, отмолив покойницу и отпев, побросали земельные комья на крышку, когда скромную тризну справляли в опустевшей хате, Катька слезинки не выдавила, а только покусывала губы.

— Пайду і я паміраць, калі Жытняя Баба памерла, пара, — прокряхтел неуклюжий Муравчик после скромных поминок.

И Володомир действительно через пару дней отдал Богу душу. Видать, на самом деле пришел срок. Только много позже, успокоившись, Катька о вздыхателе своем пожалела и поплакала.

“Манюню поила?” — спрашивала соседка.

В ответ Катерина протягивала ей недопитую кем-то чарку.

“Свят, свят!” — крестилась в испуге Милка.

Через неделю зареванная Татьяна приехала со своим нетрезвым мужем-слесарем, уведомлённая добрыми людьми. Но как на кладбище с поминальным хлебом и чаркой ходили, как мать назад в город дочку звала — “Пропади оно пропадом, бабкино хозяйство вместе с козой!” — ничего не запомнила Екатерина в пролетавших, как сон, днях.

Даже малой надежды не было, что оживёт душа, так в ней одиноко и пусто стало. И представить себе раньше она не могла, что бабушкина смерть так по сердцу полоснёт.

“Буду резать, буду бить...”

Но возможно, девицье беспамятство началось много раньше — на Черкизовском рынке в последней ее ходке в Москву, когда утонувший в дыму, криках и столах покалеченных внезапным взрывом людей рынок гудел и метался, окутанный страхом? До сих пор не понять, что это было: очередная разборка московских “бритоголовых” с “чёрными”, либо “чечены” опять бомбу подложили, и кровь невинных людей в который раз напрасно пролилась?

Тогда Катерина почти всё потеряла: и купленный товар, и валюту, что с собой привезла, и неверного напарника, “кинувшего” землячку в трудную минуту: дескать, кум, сват, брат, а деньги не родня...

Сама чудом уцелела в страшной кутерьме.

Вот и подалась к бабушке раны зализывать, а тут такое...

Наступившие холода приглушили тоску небывало обильными снегами, а истончившийся от одиночества и неизбытного горя декабрьский месяц, глядевший на Похмелевку с небесной вышины, стал после Рождественского поста на глазах расти.

Глухота Катьку отпустила.

Очнулась она сидящей в комнате возле бельевого шкафа с развёрнутым полотном на коленях. Видно, картину, Евдокией начатую, в беспамятстве достала и зачем-то рассматривала. Что там увидела — неизвестно. Но подсказка нашлась — свернутые в трубочку листки из “Огоньк”.

Вертела в руках, сравнивала — и все поняла: вот какой сюжет хотела старушка цветными нитками повторить. Да не успела.

Тогда уж навелась Екатерина вволю, отродясь так не рыдала — безутешно, навзрыд.

И потекут дни неторопливой чередой, наполняя сознание и тело морозным светом.

Разговевшийся на дармовых хлебах месяц, подглядывавший за одинокой жилицей в окошке, станет печалиться с ней за компанию, пока не превратится опять в тонкую кочерыжку.

Метели спохватятся о недоделанном и не укрытом, но повлажнеют скоро снежные хляби и, наконец, растают вовсе.

Опустится на крестовину взбодрившийся по весне ворон, и будет ему невдомёк: кто же повесил на согбенного старикашку — придорожный крест, свежую обнову — вышитый рушник?

Вкривь и вкось шитьё. Неумело сработано, но решительно.

Давненько не являлась на росстань Житная Баба — и вот, наконец, пришла...

Однако уж слишком молода мастерица на вид...

А может, и вправду, отболела, отплакалась человеческая душа и вызрела в ней, налилась, как колос, давно известная, жгучая истина, которой мы помогаемся всю свою сознательную жизнь:

*Коли есть тягло, есть и тягости,  
Коли сердце есть, есть и горести,  
Коли разум есть, есть и радости,  
Коли сила есть, есть и вольности,  
А при вольностях — переменится,  
Горе с радостью переместятся...*